

На перекрестье двух воздушных потоков – свирепых сибирских и пыльных азиатских, под столкновеньями высоких дымящихся вихрей – студеных и горячих, посредине кулундинской степи жил незнакомый поселок. Лишь на исходе лета ветры тут опадали ненадолго – прижимались к земле, словно устав от буйства, напоминало о котором только слабое дуновение, пробежавшее изредка по траве. И поселок млел теперь, он блаженствовал под сентябрьским слабым солнцем в редком для этих краев затишье. И холодная небесная синева казалась безмятежной, безбрежной и такой невозмутимой, будто краткое верховое безветрие было вечным. А желтые крупные дыни, разлегшиеся по огородам, сияли вокруг кирпичных домов неистово и нежно. И золотой свет исходил от них ввысь, как от многих спелых лун. И земной их свет был ярче верхнего, небесного – он был теплее, ласковее солнечного.

Невеселая молодая Жена стояла в этом поселке, в сильном дынном сиянье и в свете неяркого спокойного солнца. Она грустила перед домом, покинутом прежними, уехавшими людьми, и держала за руку одно свое дитя, покорное переезду на это новое место. А другое дитя еще не родилось, но зрело внутри ее круглого, растущего живота. Прохладный степной сквозняк колыхал подол ее желтого широкого платья и льнул к ногам.

Легкий этот сквозняк нес по улицам посел-

ка запах спелых семян, осыпающихся с мелких и высоких поблекших трав. Свеже-пыльный, горько-солёный, он обдавал Жену и белоголовое дитя ее равнодушными волнами. Но вершины деревьев не колыхались. Только на нижних ветвях подрагивали и покручивались, шевелились желтоватые и зеленые листья, огрубевшие к осени. Они шуршали. Затихали. Шумели снова – будто перешептывались о чем-то, передавая друг другу тайную весть, и обдумывали ее потом как следует. Может быть, они знали даже нечто важное о приехавших недавно людях, а также о прочих, им хорошо и давно знакомых, и об ушедших в разное время навсегда – тем более.

Жена редактора так давно ждала местных гостей с новой работы мужа, что у нее стала кружиться голова. И дынные ржавые плети, раскинувшиеся вокруг, начали казаться ей отсыхающими пуповинами, плохо связывающими желтые вызревшие плоды с землей. Сухая, остывающая, та уже готовилась уйти от них под снега – в зимнее оцепененье.

«Наверно, земля боится всякий раз отправляться в зиму, как в смерть, – думала Жена. – Она боится или блаженствует там, под снегами, и отдыхает, счастливая от безделья? Или тоскует под саваном по всем своим детям-плодам, которые родились от нее и остались поверх зимы?.. Когда она уходит от детей-плодов под мертвый снег, вспоминает ли их она? Однако, может быть, зимой она не помнит, кого родила и оставила. Она очнется по весне, опять – девствен-

ная и не выбирающая семени, а подчиняющаяся слепо силе плодотворенья... Земля попадает в ледяную временную смерть — или только в ледяной сон?... Но каково-то ей уходить от своих милых плодов в оцепененье, как в небытие? В одинокое темное оцепененье?... Наверно, страшно». Думая так о предзимнем испуге земли, Жена отворачивалась от хитрого, изучающего взгляда.

Взгляд шел из-за угла шаткого сарая, сооруженного из плетней. Потом — из-за другого его угла. Потом — от сеней соседнего дома. Жена не могла его обнаружить, но ощущала, что кто-то невидимый, гибкий и хищный вьется и вьется рядом по лисьи. И усталый Мальчик ее чувствовал невнятную тревогу и озирался: зачем таится кто-то совсем рядом — и отходит, и пропадает в темных закоулках, в тени навесов, в провалах дверей?

Прижимаясь в тоске и скуке к белоголовому своему сыну, Евдокия прикрывала рукою живот, как от опасности; неродившийся ребенок ее беспокоил в ней, чувствуя смутную угрозу тоже. И так было до тех пор, пока сиплый и добрый мужской голос не прокричал той, ускользающей, прячущейся, с укором:

— Эй! Блудница!.. Слышишь меня? Познакомилась бы с людьми по-хорошему, вышла бы, поклонилась... А то крутишься, греховодница. Опять выслеживаешь. Теперь — кого же?.. Вот оттого ты хоронишься, что жадна до чужого.

Это пробежал мимо домов и огородов торопливой трусцой незнакомый мужичонка, подергивая темные свои штаны и по-хозяйски поглядывая по сторонам — по огородам, по навесам, по окнам.

— А ты-то что мимо летишь? — внятно сказала

в сенях невидимая Блудница — и не показалась.

Она еще повозмушалась, скрытая дощатой стеною:

— Взяли тебя к нам из какого-то фотоателье, аппарат хороший дали, а ты пьешь, как пил. Художником он себя считает... Почему снимки в редакцию не занес?

— Почему, почему, — недовольно отозвался мужичонка, бегущий все также мелко по сорной тропе. — Винца вчера много выпил. Не до того с утра было. А нынче картошку копал со всеми. Да я-то сейчас при полном параде явлюсь, как только общество соберется. Что ты меня, фотокора Шулебина, не знаешь?.. Я быстрый человек, летучий. Разве что на правду резкий бываю. И винцо пью. А оно — слабит!..

Он развел руками и приостановился, готовый чутко услышать дальнейшее. И Блудница напонила тут же из сеней:

— Ты должен подчиняться мне по штатному расписанию! А я свои репортажи сдаю в срок!

— Ну и сдавай! К застолью со снимками как раз прибегу, новый редактор доволен будет, — ответил Шулебин, отмахиваясь. — Ему отдам, не тебе.

Потом он прокричал ей, невидимой, а заодно — всему поселковому пространству:

— Там заканчивают! Копать. Сейчас все к новым соседям собираются, прямо с редакционного поля. И ты придешь тоже, как будто со всеми вместе копала. Ну, ну... Чтобы ты — да в чужую семью носа не сунула? Придешь! Тогда снимки и увидишь...

Блудница не отозвалась. Только высунулась, согнувшись, из сеней — и мягко стянула тряпку с крыльца растопыренной пятерней. И тут оста-

новились ее глаза, устремленные на грустную Жену украдкой, исподлобья. Коричневый непокой маялся и плескался в них. А зеленые крапины пробивались сквозь радужку, как дурные осенние всходы, желавшие цвести вечно, ненасытно, бесстыже — цвести перед снегом, и под бурей, и перед весной.

Вдруг веки Блудницы дрогнули от испуга — и быстро скрыли буйные, пронзительные крапины. Затем дощатая дверь, захлопнувшись торопливо, спрятала ее совсем. Однорукая высоченная старуха в черном длинном одеянии стояла на другой стороне улицы и улыбалась пронзительно и непримиримо. Но после дверного испуганного хлопка старуха стерла свою всепонимающую улыбку с лица левой рукой, а не укороченной култышкой в обвисшем черном рукаве.

— Я Анна — вологодская по рождению, а какого рода — не припомню, — приближалась она к Жене и Мальчику неспешно. — Меня с войны советский солдат Шулебин сюда привез, красноармеец. Он, Шулебин мой, помер белокровием, потому что из белых был. И захворал от несовпадения в жизни... А я вот, руку на току здесь повредила. Из-за конвейера без кисти осталась. Повыше запястья мне ее отхватило. Рассеянная после мужниной смерти стала, худая с тех пор. Но я все сама по дому делаю. А это сын мой пробежал, Шулебин. Картошку со всеми копал. Шас к вам соберется. Ждите. Он честный, ты верь ему во всем... Когда он в армии служил, мой сын Шулебин, там учли-то, что отец его был из благородных. Такое потомство на радиацию кидали. И его кинули. Он лысый теперь. Так и не женился. А красное винцо ему врачи прописали

пить. От облучения. Для поддержки организма.

Она длинно вздохнула и отправилась было дальше, однако приостановилась:

— Опростились мы до крайности, чтобы падать нам было некуда, а вот, не помогает это... В насмешку тут обзывают меня Анной Великой. Дразнят, потому что рост мой — самый длинный в поселке. Так насмеваются надо мной, только зря, потому что в детдоме среди нас великих не было... Ну, тут у них Анна Малая есть, еще — Анна Черная, Анна Большая. И я, Великая, может, для различия, да все равно досадное оно, прозвание, будто в издевку мне дано. Притерпелась я и к этому, конечно, ничего... А ты — гони! — она взмахнула обрубком руки, будто не выросшим крылом. — Не впускай — гони! Ее все тут гонят, сучищу. А терпят на работе за то, что репортажи она пишет лучше всех. Сноровистая! И лучше всех вяжет и готовит, проныра-то эта! Но зачем, скажи, такие таланты на потаскух природа расходует? Не понимаю. По мне, так скосоротить бы Людку надо. Она здесь много по чужим дворам пакостит!..

Жене редактора и Мальчику было странно видеть вокруг себя эту чужую жизнь, в которую им теперь надо было входить. Они еще не понимали в ней своего места, потому что все, все казалось тут занятым другими судьбами. Но какие-то начальственные люди решили прислать сюда редактором именно Завьялова. И он получил в поселке квартиру, сразу вернув государству прежнюю — обжитую, городскую. И сюда привез накануне, поздней ночью, Жену и Мальчика.

Зато самому Завьялову тут подходило все! И весело, и вольготно было ему начальствовать

в маленькой газетке — молодому, деловитому, приятному всем. Только Жена и Мальчик приглядывались к новой жизни растерянно. Они не знали, приживутся ли, нет ли. А впереди была лишь кулундинская осень, захлебывающаяся гудящими ветрами, и вихревая долгая беспощадная зима...

— Пойдем отсюда куда-нибудь, — просил Мальчик, утомленный долгой ночной дорогой. — Пойдем! А то у меня в глазах желтое все и крутится.

Они вошли в дом, в котором многие неразложенные вещи не привыкли еще к чужим стенам. Но на плите уже варилась на самом малом огне вкусная еда в огромной кастрюле.

— Поешь спокойно! — сказала Евдокия сыну. — Когда гости появятся, ты отвлечешься. Будешь плохо прожевывать пищу. Тебе положить гречневой каши?

Мальчик не согласился на это, покачав головой.

— Мама! Почему у тебя в животе завелся я? — спросил он. — А сейчас — не я?

— Мне дали в больнице таблетку, — виновато ответила она. — Из нее развивается ребенок.

— Какую таблетку? — Мальчик внимательно смотрел снизу вверх. Он держался за ногу матери и ждал ответа.

— Синюю. Тем, кто хочет родить мальчика, дают проглотить синюю таблетку. А девочки родятся от красной.

Мальчик посильнее обнял мать и прижался к большому ее животу, теплому и напряженному. Но снова поднял голову.

— А сейчас ты какую таблетку проглотила?

Евдокия замешкалась и смутилась еще больше:

— Я приняла последнюю. Она была стертая вся. Непонятного цвета. Пойдем, поешь. Тогда ты будешь быстро расти.

— Не хочу! — сказал он, капризная. — Мне уже пять лет. Я вырос! Ты забыла.

Не понимающий смутной тревоги и томящийся от того, желающий то ли плакать, то ли прижиматься, он не знал, что ему делать. Чей-то невидимый опасный зеленоватый взгляд оплетал все вокруг даже дома. Чужой взгляд вился, блуждал, беспокоил, исходящий то от одного окна, то от другого. И прятались в картонных коробках привычные альбомы и книги, привезенные из городской прежней жизни. Немо зевали вдоль стен пустые пока стеллажи. А сами здешние стены с незнакомыми обоями помнили прежних людей, не доверяясь новым.

— Лучше сделай меня снова таблеткой, — решил, наконец, Мальчик. — Мне не нравится здесь.

— Тогда спи, спи, — уговаривала Евдокия сына, жалея. — Там, где тебе не нравится, лучше всего спать. Да, спать лучше, чем горевать, чем плакать. Правда. Ты всегда так делай, милый мой, когда наступят без меня горькие для тебя времена. Иди.

Потом Мальчик лежал на постели, под одеялом, прижимая ладонь матери к своей щеке. Он успокоился от теплой нежности прикосновения и затих. А она сидела рядом и не торопилась к kloкочущей кастрюле, чтобы не уходить от сына подальше.

Как жить ему в этом странном мире людей,

думала Евдокия, где самую великую музыку сочинял глухой? Где самые красочные путешествия были описаны слепцом? И где, зарыв человека в землю, говорят, что он теперь на небе... Как жить нам в мире перевернутых смыслов?

— Зачем ты не спишь? — спросил Мальчик сквозь дрему. — Тебе не нравится здесь, а ты — не спишь. Спи лучше и ты. Долго.

— Я лягу позже, — сказала она, целуя и гладя его голову. — Обязательно. Вот только уберу кастрюлю с плиты. И нарежу для гостей много хлеба.

И она еще сидела и сидела возле Мальчика, на желтом сквозняке, гуляющем по двум сумрачным комнатам, чтобы ему спалось легко, не тревожно.

— Как же дынями пахнет! — вздохнула она, поднимаясь. — Как приторно-сладко пахнет кругом...

В третьей комнате, за большим коридором, жил и сидел сейчас у стола широкоплечий корректор Цицера. Он тоже не ходил сегодня на редакционное поле. Цицера молча страдал по своей сумасшедшей молоденькой супруге — страдал иступленно. Он гляделся в холодный самовар. А самовар отражал его неправильно, как будто Цицера был безобразный.

Она сошла с ума недавно, в самом конце лета, когда еще летали над кулундинской степью свирепые азиатские пыльные смерчи. Но смерчи утихли на время, собирая силы, чтобы воспрянуть вновь в последней, предзимней сшибке с сибирскими жестокими ветрами. И когда наступило это сентябрьское затишье, колеблемое

только прохладными степными сквозняками, огромный Цицера остался в комнате один.

Редакция не тревожила его, и сельская газета выходила теперь с ошибками. Цицера бездействовал, взяв отпуск впервые в жизни и временно забыв про свое предназначение — исправлять чужие оплошности. Прежде, выживая их из газетной полосы прилежно, он определял для начала, каким кеглем и шрифтом произведен набор. Но с особой радостью произносил корректор, узнавая дорогое для себя начертание:

— Ага! Цицero!

За это он и прозван был именно так — Цицерой.

Да, да! Благодушный корректор давно изучал труды Цицерона, пытаясь в домашних условиях освоить ораторское искусство настолько, чтобы можно было с уверенностью выступать на трибунах. Досадные промахи в управлении страной он хорошо видел из своего поселка и понимал! Оставалось только все их исправить, старательно и с удовольствием.

Но окончательная цель корректором все никак не достигалась, потому что нескончаемым потоком прибывали из типографии на его рабочий стол новые и новые газетные полосы, напичканные невероятным употреблением букв, цифр, знаков препинания. И только вид шрифта, впервые примененного к напечатанию «Писем великого гражданина Римской республики», взбадривал корректора. Тогда оживала поблекшая мечта его юности — она опять придавала значимость его существованию!

— Цицero, двенадцать пунктов, — потирал он руки, вычитывая очередную статью. — Тут — непродуманность политических решений. «Лучше

погибнуть в отечестве, нежели повергнуть отечество, спасая его!» Вот о чем предупреждал наших вождей Марк Туллий. Надо им напомнить об этом срочно, но как?!. И опять в наборе употреблена буква «т» после «с». Исправляем: «гласность»...

Теперь же корректор совсем не заботился о грамотности в газете и в управлении государством, потому что думы о супруге никак не кончались.

Еще нормальная, она этим летом начала вдруг озираться в своей комнате — ей мерещилось, будто рядом, в стремительных смерчах и пыльных бурях, вьется кто-то хищный. И вздрагивала, когда в комнате неслышно возникала зеленоглазая Блудница, живущая неподалеку. Репортерша тоже старательно работала в редакции этой мелкой газеты вместе с Цицерой и солила по вечерам сало на своей кухне. Да, всякий раз она приносила кусок свиного свежесоленого сала и уговаривала молоденькую хозяйку:

— Поешь. Не бойся. Чего ты? У меня самое вкусное сало в поселке.

Но супруга Цицеры боялась ее и качала головой. И робко лгала, что есть не хочет. А потом выбрасывала сало в открытое окно через левое плечо и крестилась, едва Блудница пропадала.

Однажды Блудница принесла сало, когда той не было дома, а был только он сам, широкоплечий Цицера. И они вместе поели свежесоленого сала. И вместе легли в кровать. И пот репортерши, и пот корректора смешались на простынях в единую влагу. Смешавшийся общий пот их пах свиной.

От этого запаха, который поселился в комнате навечно и только усиливался всякий раз

после ухода Блудницы, бедная супруга Цицеры начала сходить с ума. Только этого не замечал еще никто, кроме нее самой.

Все закончилось в один миг — когда она увидела из объятий мужа, с брачной своей постели, уже неистребимо и душно воняющей свиной, две светящиеся точки в ночном распахнутом окне. Узкие зеленые глаза, в которых метался коричневый непокой, прошивали пространство из палисадника и выжигали тело маленькой женщины, как выжигает поля низкий степной пожар. Глаза светились из тьмы жестоко и голодно и не пропадали.

Тогда супруга Цицеры вскочила с постели. Она стала кричать невнятные слова и кидать в зеленые огни горшки с подоконника. Да, она стала выбрасывать свои цветы, растущие только дома, а никак не на воле. И горшки, выброшенные на волю из дома, поразбивались там вдребезги... И цветы, живущие только дома, тут же исхлестал под окном неистовый пыльный ночной ветер, несущийся к Сибири, остывающей от лета...

А бедную супругу широкоплечего корректора Цицеры уже не оставляла дрожь. Молодая женщина кричала невнятное, кидала еще в окна, не воспринимая стекло, посуду, и стулья, и все статуетки. И особенно прицельно метилась она в неутоленные огни мраморными тяжелыми слониками — символами семейного счастья. Все семь, белые слоники, один за другим, пробивали кусты за окном с шумом...

Видимо, от этого на улице поднялся смерч в ночи — там закрутился и взвился к звездам неистовый, гудящий ветер. Но зеленый взгляд блуждал и блуждал в нем, пыльном и темном, и

не удалялся. Тогда маленькая супруга Цицеры принялась хрипло выкрикивать такие бранные ругательства, что их услышали даже люди, давно уснувшие в округе. Все они вскочили, не понимая, что творится в поселке...

Не понимал ничего и местный поселковый доктор, пока не дозвонился по телефону до городских врачей. Ему ответили из ночи кратко и точно:

— Если в вашем поселке есть женщина, опасная для всех, то ее придется изолировать. За ней мы вышлем бригаду специалистов.

Супруга Цицеры стихла от вида чужих приехавших людей, однако долго не давала корректору забраться в машину «скорой помощи» вместе с собой. Она выталкивала его плечом и била ногами, потому что тонкие руки ее сдерживали специалисты.

Только очень большие дозы медикаментов помогли больной уснуть в городской палате буйно помешенных девушек-феминисток, желавших бегать голыми, дымить маньчжурской коноплей и злобно стремиться ко все большей и большей свободе, истребляющей вокруг все живое, и претпное, и чистое.

Возвращаясь из больницы утром, расстроенный корректор Цицера увидел в вагоне смиренного Монаха, читающего книгу с крестом на черной обложке. Электричка летела из города быстро, по высоким мостам, мимо желтеющих лугов, в которых цвела по низинам зеленая застоявшаяся предосенняя вода. Но Монах, сидящий напротив Цицеры, не видел гнилой красивой изумрудности за окном, расползшейся в

этом году дурниной, то есть небывало обширно. И его полная отгороженность от происходящего вдруг оскорбила корректора до глубины души.

— Разве можно спасти свою душу, не зная на то, что вокруг? А? — с обидой спросил его Цицера. — Ты верующий, помогаешь сейчас только себе. Правильно ли это?

Монах взглянул на него кротно и жалостливо. Но снова принялся читать, не ответив.

А Цицера уже рассказывал Монаху о своей и общей поселковой беде — о Блуднице неотвязной и неотвратимой, как половодье, или пожар, или сотрясение земной коры, или как сотрясение коры головного мозга у человека, наступившего на арбузную корку и рухнувшего внезапно. И корректору совсем неважно было, слышит его Монах или нет.

— Что делать мне? — спрашивал Цицера кого-то, может быть, себя. — Что делать всем нам?

— Выходить. Выходить мне скоро, — предупредил его тихий Монах. — И не разрешено мне объяснять то, что вас беспокоит. Простите мое скудоумие.

Запнувшись на полуслове, Цицера стукнул себя кулаком по колену:

— Ладно!.. Когда перестанешь быть духовным эгоистом, приезжай ко мне. Вот тебе на бумажке точный адрес.

— Лишнее это, — не хотел брать бумажку Монах.

Но Цицера возмущался все громче:

— Ты думаешь, мы летим мимо тины! И веришь, что со святой своей верой ты мчишься чистым, потому что смотришь только в чистую книгу, а не в гниль. Но нет же! Ты тонешь с книгой тоже, Монах!

– ...Мужик! Чего тебе вообще-то надо? – спросил вдруг Монах совсем грубым, а не смиренным своим голосом. – Сам знаешь или нет? Задолбал, елки. Ты свой грех лучше разгляди для начала. А не чужой.

– Зачем?! Это затянет дело и заглушит, а если короче... Я ее убью! – твердо сказал Цицера про Блудницу. – Вот и весь грех перечеркнут. И всем спасенье.

– Убьешь эту – другая для греха явится. Испытывать семьи ваши. Грех свой убей! А не человека.

– Как его убить? Грех? – возмутился Цицера. – Если природа нам дана – дурная?

– Возненавидь его! – прокричал так же, как Цицера, странный Монах. – Грех – возненавидь. Не возненавидев, не победишь.

–...А зачем нам сообщали, что мир спасет любовь? – совсем растерялся широкоплечий корректор. – Если она больше не целительна, а целительна – ненависть...

– Что тебе до мира, бестолковый ты, плотский, несуразный человек? – проговорил Монах напоследок. – Спасай себя. Выплывай, пока не погиб ты в мирских нечистотах!.. Тогда, может, спасется еще кто-то рядом.

...Теперь Цицера сидел за чисто прибранным кухонным столом и играл желваками.

– Я понял, – наконец сообщил он самовару, – чтобы убить в себе грех, надо убить свою природу. А чтобы убить свою природу, надо будет убить себя. Сначала отчасти, потом наполовину. Но лучше бы – целиком. И сразу! Иначе не получится полного очищения – полного исправления себя... Так?

Однако собственное лицо его отражалось в самоваре как искаженное и не давало ответа. И Цицера ругал его и грозил самовару пальцем, когда в комнату вошел фотокор Шулебин.

– Идем к новым соседям, – сказал фотокор, бросив на стол пачку свежих снимков. – Ты с кем споришь?

Корректор указал на самовар:

– Я спорил с ним и с Монахом. И тот, и другой хотят, чтобы мы воспринимали себя как уродов.

Решив задуматься как можно глубже, Шулебин опустил на стул и кинул ногу на ногу. Он любовался некоторое время своим дешевым опрятным костюмом, удачно купленным всего девять лет назад. Но все же обдумыванье его завершилось успешно.

– Цицера! Ты пытаешься сам сойти с ума, чтобы твоя супруга стала здравомыслящей. Ты виноватишься чрезмерно, ты хочешь лежать в психбольнице вместо нее.

Цицера покраснел внезапно и вскочил:

– Да! За мой блуд сойти с ума должен – я. А не она! Почему наказана она, не виноватая ни в чем? Зачем, Шулебин, карается жертва, а не злодей?! Нет, почему не наказан – я?

– Ну и что? – Шулебин легкомысленно пожал плечами. – Наш новый редактор уже ночевал у начальницы паспортного стола. И он не наказан тоже. Ходит как очень приличный человек... Если в каждом есть грех, значит, всякий из нас – урод? Вовсе нет. Грешник обычно сохраняет свою фотогеничность.

– А посмотри-ка сюда! – со значеньем произнес Цицера, указывая на самовар. – Каковы мы есть! Это же трагедия!.. Что ты там видишь?

Шулебин наклонился к столу и некоторое время двигал перед самоваром бровями.

— Я вижу там комнату смеха, — сказал он.

Цицера посмотрел на самовар под другим углом.

— В самом деле, — кивнул он озадаченно. — У нас была комната дружной семьи. Она теперь стала комнатой смеха. А со временем она может превратиться в комнату хохота... Затем — в комнату гомерического хохота, Шулебин!

Вздыхнув обреченно, Цицера принялся без всякой цели перебирать снимки, изображавшие веселых доярок, породистых коров на буйно цветущих лугах, но резко отодвинул фотографии от себя, когда с одной из них глянула на него толстая морда свиньи.

— Знаешь, ступай один, — решил Цицера. — А я лучше думаю додумую.

— Чего ее додумывать? — собрал Шулебин свои производственные снимки. — Усложняя, мы все перевираем и запутываемся еще больше. А правда проста! Смотри. Вот он — самовар. Перед тобой. Мыслитель — это самовар! И если часто открывать кран, то давление пара под крышкой ослабевает. Мыслитель постепенно перестает соображать! И уже творит невесть что. В таком состоянии думать нет смысла... Впрочем, все это меня уже не касается, потому что я бесплоден и скоро умру. Но я наблюдал такое в жизни.

— Странно. Цицерон говорил то же самое! — корректор был изумлен. — Он никогда не работал в нашей районной газете, не делал снимков с происходящего, как ты. И не проявлял их. И не закреплял в кислом фиксаже. А мысли имел — точно такие!

— Про самовар? — оживился Шулебин.

— Именно!.. Он утверждал, что человек часто сам себе злейший враг.

— Ну и часто лучший друг сам себе — тоже он! — разочарованно возразил великому ритору сквозь века фотокор Шулебин. — И на кой ляд тебе, Цицера, эти древние макаронники? Когда у нас полно своей исторической лапши.

— Я должен постичь... — растерялся корректор. — Должен понять причины гибели империй. Мы повторяем их ошибки! А надо — исправлять. Срочно исправлять...

— От латинян переползал к нам только вред! — Шулебин поглядывал по сторонам, теряя терпение. — Брось якшаться с высокопарными римлянами, Цицера! Иначе однажды тебе исколет язык булавками утомившаяся от твоих речей Блудница!

— В самом деле, не является ли она современным воплощением Фульвии? Шулебин! Ты полагаешь, это возможно?

— ...У тебя муха сидит на «Заговоре Катилены». И уже давно. Так идешь ты в гости?

— Нет! — вскрикнул Цицера. — Нет... Там будет репортерша.

— Дверь тогда запри, — сказал Шулебин, поднимаясь, — и окна. Она к тебе влезть может... По-моему, там, в коридоре, кто-то шастает. А не запрешься, сдуреешь совсем. Тем и закончится твоя всеобъемлющая дума.

Но Блудница была уже среди гостей. Вероятно, ей пришлось пройти мимо незапертой двери Цицеры — мимо, потому что у корректора сидел тогда Шулебин. Опустив глаза, Блудница, оде-

тая в платье скромное, помогала Жене редактора по хозяйству: она приносила к столу и расставляла тарелки с болгарскими тушеными перцами.

Редактор Завьялов посматривал на ее старательность с одобрением. Он и произнес первый тост. В нем была краткая благодарность к работникам, вышедшим на субботник, и пожелание всем сытной благополучной зимы. Потом он спросил Жену, сидящую за другим концом стола:

– Что с тобой? – и представил ее гостям. – Евдокия. Жена моя. Ныне домохозяйка.

– Ничего, – покачала она головой, держась за живот. – Здесь так сладко пахнет дынями... Запах густой, как пища. А так – все ничего...

– Кстати, где она? – редактор, подбросив дыню на руке, сказал: – Тяжелая. Пузатая какая...

Блудница поднесла ему тарелку. Улыбнувшись в сторону, редактор положил дыню и занес над нею кухонный нож. Однако посмотрел на Жену и резать передумал.

Жена ничего этого не замечала. Она была рада тому, что отдохнувший Мальчик смиренно сидит на коленях у Шулебина. Правда Шулебин нервничал немного. Стесняясь Мальчика, он все еще не притронулся к рюмке с водкой. А Мальчик слезать с колен Шулебина совсем не торопился, хотя уже второй тост был наготове. Редакционный шофер Отто Келлер поднялся с рюмкой в руке и заговорил так:

– Общественная картошка в этом году сухая и крупная. Ее хватит на все редакционные семьи до самого лета. И хорошо, что мы с колхозной картошки сразу перешли на свою, а привозной не отравляли себя, как отравляются ею гене-

тически модифицированные жители соседних поселков городского типа. Но в подвале, рядом с типографией, есть еще прохладное место для колбас. В ноябре, в хорошие морозы, мы сможем вскладчину купить у знакомых частников пару здоровых бычков, забить их и наделать колбас и окороков на всех. Предлагаю для этого объявить в начале зимы два субботника. Они пройдут у нас, на кухне, под руководством жены моей Эльзы. Тогда в пищу всем нашим детям не будет попадать вредная продукция, которая лежит в двух поселковых магазинах и ждет лентяев. А значит, следует выпить за полное наше дальнейшее самообеспечение. И за то, что мы с Эльзой не уехали в Германию, как глупый, бедный брат мой Эрих.

– А что ваш Эрих? – спросила пожилая газетная верстальщица, выбирая себе подходящий ломтик сыра.

Плотный как пятипудовый мешок с овсом, краснощекий и крепкий, Отто отвечал, закусывая неторопливо:

– Он теперь там поедает всякую подозрительную пищу из ярких упаковок, а его десятилетний сын жует жвачку, словно животное, и смотрит порнографию. От этого лицо его сына покрылось преждевременными угрями и нервы пришли в негодность. Ох, до чего они докатились... А все оттого, что здесь наш Эрих плохо учился, плохо вел себя в школе, озоровал и со всем не слушал нашу гроссмуттер, которая пыталась научить его немецкому языку. Да он один из всей нашей семьи не знал немецкого языка! И вот именно Эрих – в Германии. Он там живет, как в плену. Да... Нетерпеливый наш Эрих не захотел дожидаться здесь правильного социализ-

ма и не верил, что он скоро наступит, как только кончится этот затянувшийся кризис! Устремился туда, где можно красиво жить! Не зря когда-то комсомол выгнал его из своих рядов.

Сочувственно качая головами, выпили все, кроме Шулебина. Он мрачнел, поглядывая на Мальчика, склонившего русую головку к его плечу. А Жена редактора не откликалась на то-сты никак.

Два старых корреспондента сельхозотдела, тесно разместившиеся на одной низкой тумбочке, напомнили Келлеру:

– Но ведь первым уехал в Германию дядька Эльзы! Этот, комбайнер из совхоза «Луч»! Передовик!.. Он, говорят, хорошо там устроился, как сын репрессированных. Как потомок пострадавших от несправедливых советских гонений!.. И вся его семья живет припеваючи. Отто! Правда, что ему сразу дали двухэтажный особняк? И пособие такое, что он может не работать?

Отто выслушал их, утерся полотенцем и согласился:

– Моя Эльза ездила к нему. И это в самом деле так: особняк у дяди Курта – весь в коврах. А моя Эльза как вошла, то растерялась там от многих красивых вещей. Но тут видит: спускается к ней из верхней комнаты по ковровому половику дядька Курт, бывший механизатор совхоза «Луч». Ругается он, как при поломке комбайна! Орет и употребляет самые плохие слова: «Эльза!.. Зачем я сюда приехал? Здесь настоящего – нет!» Оказывается, жизнь в Европе налажена только для стойлового содержания людей, хотя их стойла большие и очень благоустроенные. Да, все там одинаково сыты, ухожены и обеспечены жильем. Но мало осталось таких мест на

земле, где судьбу свою можно строить разумно... По-своему жить сейчас можно только в России, в глуши! Здесь, в кулундинских степях, мировая зараза нас не настигнет никогда.

Подумав, редактор Завьялов сказал:

– Но молодежи, наверно, там лучше.

Блудница быстро обернулась к нему, быстро кивнула и быстро увела узкий взгляд свой к узкому вырезу на собственном платье.

– Им доступны блага цивилизации, – негромко подтвердила она.

– Так лучше молодежи, так лучше, что... – еще больше закручинился Отто. – Обе наши племянницы, дочери Эриха, считай, пропали. Они торгуют в магазине сковородок и сделались шлюхами. И даже он, бывший хулиган, известный шалопай, Эрих, сказал про своих девочек по телефону: «Я их – ненавижу!» Такие они сделались распущенные. Даже для самого плохого замужества теперь не годятся. Семья им стала не нужна... Нет, нет: достойно жить – там уже нельзя.

– Какая это жизнь?! – дружно посочувствовали с тумбочки два корреспондента сельхозотдела Отто Келлеру. – Какая же это жизнь, когда одни немцы кругом?.. Иностранные немцы.

– Да, безнациональные немцы! – заволновался Отто. – Бездушные совсем... Они стали там просто немецкоговорящие европейцы! И на синтетической пище это уже не люди сделались, а... уроды. Общемировые уроды.

Услышав про уродов, Шулебин встрепенулся.

– А как там наш Цицера? – спросил он, оживляясь. – Горюет, наверно. Его надо проведать.

Это был хороший предлог пересадить Маль-

чика со своих колен на стул, выпить давно простаивающую рюмку и вздохнуть спокойней, уходя. А Отто меж тем все жалел непутевого своего брата:

— ...Теперь он нигде не слышит привычной речи! Там даже птицы, оказывается, не наши. Просыпается бедняга Эрих, не знающий немецкого языка, а все птицы на ветках сидят — немецкие. И поют они в окно ему каждое, каждое утро: «Цуг цурюк! Цуг цурюк... Цуг цурюк...» Поэтому следующий тост мой будет такой. Пусть крепнет в этой степи наше общее редакционное хозяйство и пусть увеличивается у нас число счастливых детей, уважающих эту суровую степь, эту плодородную землю. Да, пусть сияет в их маленьких сердцах любовь zur sozialistischen Heimat! Мы не променяем ее ни на какую другую...

В это время над собравшимися проплыл тончайший, неуверенный звон. Раздался странный хруст, затем краткий треск, подобный слабому выстрелу. Это лопнуло само собою стекло на двери комнаты — длинная извилистая трещина пробежала из угла в угол и стихла. Гости с рюмками в руках смотрели, оторопев, друг на друга.

— Ничего! Оно не рассыпалось и не выпало, — весело заметил новый хозяин жилища Завьялов. — Совсем будто целое! Стекло может держаться так вечно!.. Зря все перепугались. Продолжим!

Однако Келлер отставил рюмку в сторону.

— У меня дома есть целое большое стекло и алмазный резец, — сказал он дрогнувшим голосом. — Машина здесь. Я съезжу сейчас же и не порядок замену на порядок...

Только он еще медлил отчего-то, глядя, как Евдокия уводит Мальчика в другую комнату,

как редактор отправляется провожать гостей. Пожилой Отто сидел за пустым столом в задумчивости и будто ждал чего-то.

В конце этого вечера начались у Жены редактора преждевременные родовые схватки. На кухне еще прибиралась и гремела посудой Блудница.

— Я пригляжу за Мальчиком! — кротко сказала она шоферу.

— Чего за ним приглядывать? Он уже уложен, а отец скоро вернется, — возразил Отто, но только махнул рукой и в спешке повел Евдокию в машину.

— Дверь не трогайте! — проговорил он напоследок. — А то стекло выпадет и рассыплется. Пусть она стоит открытой...

Поздней ночью Блудница медлила вставать из постели и удерживала редактора Завьялова под одеялом за шею. Он же в который раз вырывался и говорил:

— Погоди... Сегодня душная ночь.

— Да, как летом. Обними меня крепко!

Но он не обнимал, потому что все не мог забыть ее вопроса — почему Завьяловы приехали сюда из города — и старался дополнить свой ответ подробностями новыми, важными необыкновенно.

— ...Знаешь, как тесно было работать в краевой газете простым заведующим отдела? — разжимал он пальцы ее у себя на горле поочередно. — Служить придирчивому начальству изо дня в день... Там я был весь на виду! А тут — воля, и я сам себе хозяин.

— Конечно! Эта ваша квартира совсем не

плохая, — отвечала Блудница, уткнувшись в его плечо. — Ты любишь ее?

Он рассмеялся, поняв Блудницу правильно:

— Наверно! Хотя... Любовь — это зависимость. Когда жизнь стеснена любовью, можно забыть, кто есть ты сам... Остаться в жизни без себя самого было бы крайне глупо!

— Ты не любишь ее?

— Видишь ли, женам нельзя показывать свои чувства — так можно испортить самый золотой дамский характер. А чувства разумней всего расходовать понемногу. И совсем на других, безответственных направлениях. Иначе погрязнешь в семье, станешь скучным подкаблучником. И только!..

Наконец Блудница уgomонилась. Укрытая одеялом по самый рот, она смотрела на него взглядом мутным, будто бутылочное стекло, скрывающее за своей зеленью то, что плещется, томится и никак не перебродит.

— Позвонил бы ты в больницу, узнал, как она, — уже не в первый раз напомнила ему Блудница про Жену.

— О! Ты не знаешь ее... Она — необыкновенная женщина! Из-за болезни сердца Евдокии не разрешали рожать даже первого ребенка. Но она пошла на риск — и сохранила его жизнь, никак не подчеркивая своих заслуг... Да, она ни разу не попрекнула меня тем, что ее здоровью был нанесен урон. И с тем же самым терпеливым героизмом она родит второго, уверяю тебя!.. Ну скажи, есть ли на свете женщина, равная ей? Нет, нет: она вынесет все!..

— Быстрее позвони и сразу ложись, — опять крутилась, вертелась она под одеялом и торопила Завьялова, — а то скоро проснется ребенок.

— Ты беспокоишься. А я в ней уверен. Увидишь сама! Жена справится... А когда сыну исполнится десять лет, я займусь его воспитанием сам. Сейчас он еще не способен воспринимать серьезные речи.

Проговорив это, он вознамерился заснуть и отодвинулся от Блудницы. Но она снова разворачивала редактора к себе.

— ...Скажи! Не скучно тебе жить с домохозяйкой? Или скучно? — бормотала репортерша, зевая, ворочаясь, потягиваясь. — Ей надо срочно выучиться на кого-нибудь. Здесь есть курсы кондитеров.

— Пока она будет заниматься детьми! Все равно ее образование в этой степи не нужно никому. Видишь ли, она исследователь живописи авангардистов. Фантастический экспрессионизм, аналитическое искусство, лучизм! Калмыков, Гончарова, Филонов — все это было ее главным делом, пока она не сосредоточилась на рождении детей... Конечно, Евдокия излишне добросовестна во всем! И даже мне бывает ее жалко. Но для женщины важнее всего — семья! И я, именно я приучил Евдокию не слоняться по музеям, не размышлять над альбомами живописи, не писать по ночам бесконечные статьи, а преодолевать — преодолевать настоящие трудности жизни! Взял, да и вылепил из белоручки идеальную спутницу жизни! Точно так, как поступали со своими женами непреклонные декабристы.

Блудница посмеялась коротко, сдержанно:

— А как ты поступишь со мной?

— Ну... — посмеялся он тоже. — Тобой займется кто-нибудь другой. Возможно даже, найдется дурак, который на тебе еще и женится...

После ночи Блудница снова долго держала спящего редактора за шею, посматривая в светлое окно. Ночная луна зависла в утреннем небе. Совсем бледная, она истаивала от мягкого света зари и была едва различима.

Наконец, когда призрак луны стал невидимым, Блудница оделась и прошмыгнула в дверь. А Завьялов пошел в другую комнату, чтобы разбудить Мальчика и взять его с собой на работу. Однако он увидел только плохо застланную детскую кровать. Мальчика в доме не было.

Заглянув к Цицере, Завьялов наказал ему отыскать ребенка и явиться в редакцию вместе с ним. Корректор, чистивший зубы, помычал согласно и покивал, успокаивая редактора: мол, все будет исполнено в лучшем виде. Мальчику, даже если он вышел на улицу, никакая особая опасность в общем-то не грозила. И с тем Завьялов вышел из дома.

Новое утро выдалось точно таким, как вчерашнее — спокойным было небо, свет солнца — слабым, и также сияли по огородам не убранные дыни. И также, как вчера, дремал в машине Отто, приехавший загодя. Мутная сердечная досада оставила Завьялова вовсе, когда, тронув машину с места, Келлер сказал, что в больнице он уже побывал — отвез Евдокии Викторовне сумку с продуктами, которые собрала Эльза еще ни свет, ни заря.

— Женщины лучше знают, что пригождается им в таком заведении, а моя Эльза — женщина, и очень аккуратная, — пояснил Отто с достоинством.

Еще шофер узнал, что роды, вероятно, на-

ступят дней через десять, потому что схватки внезапно ослабли. Пока же больной прописан постельный режим, различные уколы для укрепления сердца и посетителей к ней не пускают.

Уже к концу планерки в редакции появился корректор Цицера, он был в состоянии спокойном и благодушном. Оказалось, что пятилетний сын редактора Завьялова еще ранним утром, едва рассвело, отправился из дома совершенно самостоятельно. Он пришел в детский сад, который располагался недалеко от дома, и сидел там, во дворе, под грибком, дожидаясь, когда учреждение откроется. Потом назвал уборщице свое имя, фамилию, а также попросил принять его к детям. Подошедшая вскоре повариха сильно удивилась тому, что при нем нет никого из родителей, однако воспитательницы допустили его к завтраку. Только попеняли, что Мальчик забыл надеть носки и стоит в ботинках, надетых на босу ногу, да еще явился без сменной обуви.

Цицера долго уговаривал Мальчика пойти к отцу. Корректор даже тянул его за руку, но Мальчик упирался.

— ...Почему? — строго спросил Завьялов Цицеру. — Почему ты не убедил его в том, что выполняешь мое распоряжение?

Цицера заулыбался беспомощно:

— Они должны были что-то лепить из пластилина...

Перед концом рабочего дня Завьялов зашел в детский сад, за сыном. Уборщица с пустым ведром пообещала позвать ребенка, но не двигалась с места. Кажется, она собиралась что-то сказать редактору, однако не решалась. И Завьялов, отвернувшись, неприметно зевал возле шкафа и посматривал на широкий поднос с

пластилиновыми утятами. Они были желтые, одинаковые, только один — в синей шапочке. Скучая, Завьялов изучал таблички. На них значились имена детей.

Уборщица наконец заговорила, она прервала его чтение:

— А того, в шапке, ваш слепил.

И в ту минуту округлая женщина в белом халате вывела Мальчика за руку.

— Это не шапка, — сказал он. — Это венчик.

Забрав сына из детского сада и попутно оставив родительское заявление округлой заведующей, Завьялов подробно объяснял ему, почему уходить из дома без спроса не годится, что со стороны детей это скверно — доставлять взрослым лишние хлопоты. Мальчик слушал его и отставал, хромя. Без носков он натер ноги.

Дома он ушел в свою комнату, разделся и лег в постель.

— Что ты делаешь? — заглянул к нему Завьялов. — Спать рано! Еще совсем светло. Ты вымоешь ноги. Мы долго будем с тобой пить чай и смотреть телевизор.

— Нет, — ответил Мальчик из-под клетчатого детского одеяла. — Я буду спать. Долго.

После этого он и вовсе укрылся с макушкой и отвернулся к стене.

Тем же вечером фотокор Шулебин вспомнил вдруг, что не сдал в суете, по оплошности, тексточки к снимкам. Он понес их редактору, потому что с утра ему надо было отправляться в командировку. Но мимоходом фотокор заглянул к временно одному Цицере, погруженному в тоску. Спустил всего пятнадцать минут,

они отправились через коридор вдвоем, слегка пошатываясь.

— У вас дверь не на замке! — весело прокричал Шулебин и огляделся, включив редактору верхний свет.

Завьялов заправлял рубашу в трикотажные штаны, которые натянул только что. Но посторонних в квартире не было. Только плотная штора на окне странно бугрилась. Цицера тоже заметил это и опустил глаза.

— Спит? Сынишка-то? — прокашлялся Шулебин.

— ...Спит, — не сразу ответил Завьялов. — В той комнате.

— Нет! — прозвенел из темноты детский голос. — Я не засыпаю никак... Мне маму жалко.

— А полы кто перемыл? — спросил Шулебин редактора.

— Кто, кто... — поморщился Завьялов. — Не все ли равно, кто. Чего ты хотел?

— Эх, начальник, — укорил его Шулебин. — Мальчишку хоть бы к соседям отвел ночевать. Прежде чем полы мыть.

Вконец расстроившись, Шулебин развернулся, наткнулся на Цицеру, стоявшего столбом, и они вышли вместе. Не сговариваясь, сослуживцы отправились на улицу без всякой цели.

Рядом с домом чернела фигура Великой Анны. Старуха прижимала к себе покалеченную руку и глядела вверх, на освещенные окна, неподвижно.

— Это пошто теперь в окошке Людка голая сидела? — строго спросила она Шулебина.

— Пошто, пошто... — проворчал фотокор. — Жарко ей было.

— Так ведь... Не в своем окошке она голой

задницей-то на всю улицу светила, а в завьяловском! Если жарко ей, у себя и сидела бы нагишом, на своем подоконнике... А здесь-то она зачем?

— Ты что, мать? Обход свой не завершила еще? — удивился Шулебин.

— Так, спать иду, — ответила старуха издали. — А под окном задержалась, потому что понять не могла. Голову все ломала!

— Чего понять не могла?

— Да что же она к себе-то не отправилась? Тут два шага всего. Нет, в чистый дом влезла! За чужую шторку... В гости что ли к Завьяловым пришла?... А зачем в гостях так раздеваться? И на окошке сидеть в гостях — зачем?

— Жену редакторскую в родильное отделение увезли. Дней десять пролежит, да еще после родов не сразу выпишут... Мальчишка там без призора. Вот она и сидела.

— Ну... — старуха задумалась. — Долго вашему Завьялову от нее не избавиться теперь. А та, значит, в больнице мучается. А эта — здесь уже. Тут как тут. Ага...

Скорбно покачивая головой, высокая старуха в черном двинулась к своему дому и скоро скрылась в ночи. А фотокор и корректор перетапывались в смущении. Шулебин рассеянно насвистывал, постукивал себя по колену готовыми текстками, свернутыми в трубку. Цицера внимательно прислушивался к лаю собаки в чьем-то дальнем дворе.

— Последние теплые деньки стоят! — наконец сообщил Цицера фотокору.

— Особенно ночью, — подтвердил Шулебин, оглядывая темную улицу. — Мать, она семь раз поселок обходит... Пока семь своих дозорных кругов не сделает, не уснет. Это она — для

полной усталости, чтобы ночью свою жизнь не вспоминать... Бойтся вспомнить то, что забыла.

Они уселись на скамью, смахнув с нее несколько пожелтевших листьев.

— Вот вам и новый редактор. Чего это он? — размышляя, Цицера почесывал подбородок. — Ему такое совсем не положено... Слушай! А не зря ли я с тобой к Завьялову пошел? Как ты думаешь, брат?

Шулебин искал ответ в уме, но там его не оказалось.

— А если не только Анна с улицы вверх глядела? — прикидывал Цицера, пытаясь определить дальнейший ход событий. — Может, нам следует предостеречь Завьялова? Чтобы он не наделал новых ошибок? Ведь нет ничего слаще, чем свет правды. Так утверждал великий...

— Снимай осаду, Цицера! — спешно перебил его фотокор. — Считай, что наступили у тебя законные каникулы... А редактора — предостереги! Если хочешь. Да не поздно ли?

Они посидели молча. Спустя время Цицера спохватился:

— Но очевидность умалается доказательствами! Поэтому древние аристократы...

— Согласен с ними, не выкурить суку, — вздохнул Шулебин, поглядывая на входную дверь без надежды.

— ...Да, плохая история закрутилась, — корректор еще соображал, как бы это все исправить — умно и точно.

И все же теперь Цицера ощущал в себе странную легкость — и даже неловкую благодарность к редактору. Так, должно быть, чувствует себя арестант, выгнанный из тюрьмы внезапно, до окончания срока и без объяснений.

– А вечер хороший, – заметил Цицера виновато.

– Для кого как...

Редкие огни в домах стали гаснуть один за другим. Проскрипели чьи-то ворота, запираемые на ночь. И вскоре стихло все. Лишь слабый ветер над их головами тревожил ветви тополя. Темные листья жестко шуршали. Затихали. И снова перешептывались о чем-то, может быть – важном, чего люди еще не знали.

Вдруг Шулебин вспомнил про свои текстовки, свернутые трубкой. Он будто увидел их впервые – и расправил.

– Может, занесешь им, Цицера?.. Я там обличительную речь произнес. А ты молчал! Значит, тебе можно. По-соседски.

– ...Лучше под дверь их засуну, – решил директор после долгого раздумья. – Часа через три! Поспешая медленно.

Однажды ранним утром Завьялов разбудил Мальчика.

– Собирайся. У тебя родился брат. Беги в машину, поедem к маме. Я сейчас...

Отто в белой рубашке стоял возле распахнутой задней дверцы. Он подхватил ребенка, усадил его на сиденье и погладил по голове:

– Умыться забыл, герой?.. Спешил очень, это ничего! Зато цветы повезешь ты! Держи! Белые астры из нашего сада, последние! Их собрала для твоей мамы тетя Эльза... Тебя когда купали в последний раз? Не помнишь? Ну ладно. Главное, теперь ты у матери не один!

По дороге в родильное отделение Мальчик смотрел в спину отца и нюхал цветы.

– Сидишь? – спросил его Завьялов.

Удостоверившись, он повернулся к Отто:

– А какой вес?

– Четыре восемьсот пятьдесят, – ответил Отто с достоинством.

В приемном покое было солнечно и просторно. Женщина в белом халате вынесла к ним ребенка, закутанного в белое, с улыбкой показала его Мальчику и унесла. Потом вышла Евдокия, взяла белые цветы и стала целовать Мальчика и оглаживать.

– Совсем оброс, – говорила она, перебирая выгоревшие волосы на его макушке. – Меня скоро отпустят, мой хороший. Потерпи еще немного. Ладно?

– Потерпит! – успокоил ее Завьялов, разглядывая дальний плакат.

– Вот что! Надо определить его в круглосуточную группу, – сказал Отто Жене редактора. – Есть такая группа, в ней всего пять человек. Я узнавал в детском саду. А то... Это не дело.

Завьялов кивнул Жене. И она, помешкав, кивнула Отто.

Мальчик, прижимаясь к матери, согрелся в ее тепле, по которому сильно соскучился.

– А как его зовут? – беспокоился он, заглядывая в ее лицо.

Все замешкались.

– ...Ты сам как бы его назвал? Нашего маленького? – спросила она с улыбкой.

– Михрютка! – обрадовался Мальчик. – Меня так зовут дети в группе. Пусть будет Михрютка и он. Тоже!

– Нет, ты не Михрютка, – веско ответил Отто. – И он не будет Михрютка. Не называй себя так. Не называй никогда.

Мальчик задумался.

– А Молодчиков говорит, что я... И дети говорят!

– Не слушай их! – перебил его Отто со строгостью. – Прямо сейчас я отвезу тебя в парикмахерскую, и волосы не будут лезть тебе в глаза. Потом доставлю в круглосуточную группу. И сразу займусь у вас дома заменой стекла. Можно сегодня? – спросил он Завьялова. – Или это опять не ко времени?

Редактор задумался, но скоро махнул рукой:

– Хорошо, разрешаю. Только недолго.

– Вы заявление в круглосуточную группу прямо тут напишите, – настаивал Отто. – Я передам. А то потом... забегаетесь.

– Ох-хо-хо, – покорно вздохнул Завьялов, вынимая из нагрудного кармана ручку. – На чем писать?

– ...А ты – молодец! – обернулся он к Жене.

Но она отпустила руку Мальчика и ушла, опустив лицо в подаренные цветы.

Жену редактора, однако, выписали только через две недели, потому что роды прошли осложненно. Младенец был слишком крупным. Детский врач, подхвативший его на руки при обходе, изумился:

– Да это Илья Муромец!

И младенца сначала так и назвали – Ильей. Но дома, оглядев ребенка, как следует, Жена сказала:

– Разве он Илья?.. Нет, он совсем не Илья. Это – Николенька!

Редактор тоже разглядывал ребенка, хотя तो-ропился на работу. Он пожал плечами:

– Не возражаю.

Во второй половине дня к Завьяловым прибежала Блудница – посмотреть на новорожденного и поздравить Евдокию. Но Жена редактора сидела в боковой комнате, узкой и тесной, покачивая коляску. И зайти туда Блудница почему-то не смогла. Она долго причесывалась перед зеркалом в прихожей, улыбаясь отражению поощрительно. Потом неторопливо поправила брови и принялась искать себе комнатные тапочки.

– Меня отпустили с работы, помочь тут по хозяйству, – проговорила Блудница. – Я принесла вам свежего свиного сала! Сама солила!

Жена отвечала ей из боковой комнаты, кормя ребенка грудью:

– Мне его нельзя.

– Тогда я оставлю сало на кухне. Пусть Завьялов ест его перед работой. Он любит мой засол.

– Наверно, – сказала Жена, глядя в приоткрытое окно.

Она могла бы добавить, что в большой комнате все пропахло свиной, даже постельное белье, так он пристрастился к салу, но промолчала.

– Ваша комната мала для троих, – заметила Блудница, размышляя о чем-то.

– Здесь воздух чистый, – ответила Жена. – Мы уже обустроились, мне с детьми не плохо в тесноте. Сейчас Отто привезет Мальчика. Наконец-то.

–...Я положила сало в холодильник! – сообщила Блудница, похаживая по квартире. – Завьялов предпочитает есть его холодным.

Она сновала, что-то переставляя, в прихожей. И что-то убирала в большой комнате, подметая.

– Да. Кажется, оно ему очень нравится, – отвечала Жена.

Погремев посудой на кухне, Блудница включила в большой комнате радио и распахнула там окна настежь.

– Долго стоит в этом году тепло! – кричала она откуда-то сквозь музыку. – Удивительно долго! Как никогда!.. А я вот думаю, отчего моя бабушка повесилась? В позапрошлом году... Ведь так она к себе хорошо относилась! Так за собой следила! Никогда за всю жизнь не глаженных трусов не надела. И я уродилась в нее. Думаю – и боюсь: а вдруг и я повешусь?.. Нет, почему она повесилась? Как вы думаете?

Жена редактора отвечала ей издали:

– Кто же это может знать, почему?

– Да потому, что такая же блудня она была, как и ты, Людка! – ответила ей с улицы проходившая мимо открытых окон Великая Анна. – Это на старости лет ей без блуда скучно стало. И жизнь ей сделалась не в жизнь... Кто может знать? Так все и знают кругом, почему.

Она что-то еще бормотала себе под нос, высоченная худая старуха, вышагивая по осенней солнечной улице. Но молодым женщинам остальное уже не было слышно.

Вдруг прихожая наполнилась детским топотом. И радостный голос Отто возвестил от порога:

– Вот, доставил вам старшего! Он чистый, сытый и умный! Такой молодец...

– Мама! Я принес тебе утенка! – кричал Мальчик на бегу. – Нам разрешили взять старые поделки домой! Он – в синем венчике, а не в шапке!

Положив младенца в коляску, Евдокия обняла Мальчика:

– Веселый утенок. Славный получился! Он будет стоять на тумбочке, возле моей кровати... Какой же ты у меня еще маленький.

Пожилой Отто Келлер отвернулся и прокашлялся.

– Садись в машину! – сказал он Блуднице, лежащей в большой комнате на диване. – Тебя ждут в редакции... Вставай! Потому что положение на тебе сегодня – эвакуация.

Весь месяц держалось ведро. А потом пошли гулять и сшибаться в высоте свирепые кулундинские вихри. Ветер срывал, вздымал с деревьев листья. Они взлетали желтой тревожной стаей к небу и опадали, шурша. Их несло вдоль улицы, било о стены домов, о заборы, гнало по темным пустым огородам и кувырало.

Жена редактора Завьялова стояла за спиной Мальчика и тоже смотрела из кухни в окно. Золото осеннего солнца уже опало – все оно перелилось в желтизну листьев, без остатка, и в вышине его не осталось – там ходили сырые тучи.

– Видишь, какой листопад? – говорила она. – Дерево под нашим окном называется тополь. Это он шумит от ветра, когда мы спим. А тополь не спит, он сторожит нас и охраняет.

– Даже без листьев? – удивлялся Мальчик.

– Да!.. Их сметает ветром каждую осень. Зато весной у него нарождаются новые. Зеленые. И растут.

– А этим что делать? Они зябнут сейчас? – поежился Мальчик.

– Они танцуют... Идем есть кашу, пока не остыла. Здесь такое питательное молоко!

Мальчик усаживался за стол охотно и болтал ногами.

– Потом опять начнем складывать буквы? – спрашивал он. – Мне «жэ» не нравится. Она ползучая и жужжит. Не буду ее запоминать.

– Ешь прилежно... Мы будем составлять из слов предложения и писать, пока маленький не проснется. Держи ложку правильно.

– А потом? – радовался Мальчик.

– Потом ты выпьешь кисель, мы искупаем Николеньку. И станем втроем слушать музыку для детей композитора Михаила Ивановича Глинки. Или сказку писателя Ершова.

– Петра Павловича? В большой комнате? Я буду смирно там сидеть на взрослом диване и не прыгать?

Но вместо ответа Евдокия проговорила:

– ...Надо спросить Цицеру, где он покупал молоко. Если это близко, будем ходить туда сами.

– И маленький будет ходить за молоком?.. – не поверил Мальчик.

– Его еще рано оставлять одного.

В комнатах запахло одеколоном. Это соби-рался на работу Завьялов – шуршал плащом, клацал замками портфеля, ругался, спотыкаясь о веник, на котором недавно Мальчик скакал верхом.

– Управитесь тут сами? – спросил Завьялов, обуваясь в прихожей. – А то на работе у меня скапливается много дел. Придется проводить дальнейшее сокращение штата...

Хлопот у Завьялова и вправду было невпро-ворот. Местные власти больше не хотели тра-тить на редакцию прежние суммы. И хоть отве-чать на письма трудящихся было теперь некому, да и незачем, концы с концами у редактора схо-дились неважно. Газета уже осталась без курье-

ра, лишилась одного сотрудника по сельскому хозяйству. А Блудница, ставшая заместителем Завьялова, требовала немедленно уволить Ци-церу – за ненужностью корректуры.

– Он зря ходит на работу! Я гадина? Гадина? – допытывалась она, беспомощно моргая.

– Вероятно, – соглашался Завьялов, глядя в экран компьютера. – Иди. Не стой над душой.

Но что-то еще мучило Блудницу.

– ...А может корректор меня убить? Прямо на работе?

– Может! – кивнул редактор. – Но Цицера еще поработает.

В ноябре, когда земля сделалась каменной, поселок уже трясло от буранов, хлопавших став-нями, рвавших электрические провода. Они ис-крили в мятежных вихрях снежной крупы, под напором воющих северных ветров. И жители съездившихся улиц забивались в свои дома, ча-сто оставаясь без света.

Бывать у Блудницы в доме Завьялову не нра-вилось. Он морщился от ее теплых воспомина-ний о повесившейся там бабке. Да и Великая Анна, обходившая поселок в любую погоду, и так уже раза два примечала, как он пробирается в дощатые сени, однако смотрела издали. Оста-новившись в снежной замяти, старуха не гово-рила ни слова.

Но когда наступили жестокие холода, обжи-гавшие лица редких прохожих сибирским колю-чим морозом, Великая Анна принялась стучать в ночные окошки Блудницы уцелевшим обрубком руки, засунутом в просторную толстую варежку.

– Что тебе надо? – выбегала на улицу растре-

панная Блудница, кутаясь в кружевную шаль.

Ничего не отвечала Великая Анна, удаляясь по своему пути. И снова она вышагивала в крошечной пурге по улицам поселка, возвращаясь домой через время. И останавливалась у тех же окон, в которых мерцал слабый красноватый свет. И снова колотила в окна старуха, сначала – в одно, потом – в другое, не ожидая ответа.

Однажды поздним вечером на крыльцо Блудницы вышел одетый Завьялов.

– Прогуливаешься, Анна? – спросил он ее на ледяном ветру, прежде, чем направиться к себе домой.

– Прогуливаюсь дак... – угрюмо отвечала она. – Известная я гуляльщица.

– Болеет Шулебин?

– Не болеет, а лежит подолгу. Потом в кладовке запирается. Там снимки печатает для газеты. И больше не хочет вина.

– Передай, мы переводим его на полставки... Что, руку себе не отшибла – стучать?

– Бесчувствия в ней много, – ответила строгая старуха. – Я стучу рукой, которой нет.

Тогда Завьялов и Блудница стали оставаться в редакции после работы, мечтая о теплом времени года. Но там были свои неудобства. Из типографии приносили то старую, уже не нужную верстку, то припозднившуюся полосу на подпись. Пожилые сотрудницы уходили, но тут же возвращались, словно нарочно, – подолгу отыскивая в кабинете редактора оставленную ручку, нехстати пропавшую шапку, оброненный шарф. А то и вовсе появлялись в дверях без всякого дела. Они норовили задуматься на пороге, оцепенев и разинув рот.

Как-то днем, когда каждый занимался в ре-

дакции своим делом, Цицера вошел к Завьялову и молча потянул его к окну. Завьялов отмахнулся от корректора, перебирая свежие фотографии:

– Некогда... Видишь? С Шулебиным толкуем. Принес целый ворох.

Корректор же бормотал, приглядываясь к происходящему во дворе:

– Наблюдаю и убеждаюсь: «Где дело говорит само за себя, к чему слова».

– Какое дело? – живо оглянулся Шулебин. – Все у тебя, Цицера, облечено в какие-то замысловатости. Говорил бы просто! Без вывертов. Примерно, как я...

Он тоже устремился к стеклу – и присвистнул.

– Чего там? – спросил Завьялов, не отвлекаясь от дел.

– Так, ничего, – фотокор поскущел. – Местный водевиль! Обычный.

– Какой водевиль?

– Пустяковый совсем... «Идет барышня в бантах, и с корзиночкой в руках. А за нею кавалер, прыг да скок – через барьер...»

– И что дальше? – снял очки редактор.

Шулебин смутился, но продолжил:

– «Барышня, барышня! Сударыня, барышня! Можно с вами поиметь?» «Ну-ка что? Пожалуй-ста!..»

– Ничего не понимаю! – все же встал из-за стола Завьялов. – Что за представление там у вас?

– Да вон, вьется возле этого, прыщавого! – Шулебин облокотился на подоконник для более удобного созерцания. – Около парнишки из типографии. Нашла, на ком виснуть.

Выглянув в окно, залепленное снегом наполовину, редактор рассмеялся:

– И впрямь, цирк. Парнишка-то совсем желторотый.

– А куда она его тащит? А, Цицера? – прикидывал Шулебин. – В пустой гараж вроде? Там же стужа. Из мебели один верстак да табурет... Значит, для краткой воспитательной беседы.

Но Цицера был настроен серьезнее прочих.

– Пусть висла бы на ком угодно! – с тяжелым укором проговорил он. – Лишь бы не писала свои статьи о выдающихся людях района. Жены потом выгоняют их из семей, после газетных наших выступлений. И сам я тоже – падший служащий: сопротивлялся сильно, но плохо... Позорно все это.

– И что?! – пожал плечами Завьялов, возвращаясь к столу. – Она – женщина раскованная. Тем и хороша. Тебе ли не знать!

– ...А плоха чем? – удивился Цицера.

– Это для мужа она была бы плоха. А для нас – годится. Вполне. Вполне... Слушайте! Вы, оба, успокоились бы на ее счет! Она, между прочим, тоже теперь ваш начальник. И весьма хваткий! Что, безусловно, ценно. Да и ее шашни с руководителями района могут нам еще пригодиться... Редакции сейчас, на переходном этапе, нужна, крайне нужна своя, хотя бы маленькая, акула капитализма. Глупенькая, но симпатичная. Ручная, конечно... Иначе с вами, мыслящими пиджаками, газета не выживет. Внешний мир нас проглотит – и не поперхнется!

– Почему это мы – пиджаки?! – возмутился широкоплечий Цицера. – У меня их нет.

– А что, разве вы – хищники? То-то! Сейчас время хищников, Цицера!.. В идеале не толь-

ко акула, а еще и алчные крокодилы нам нужны, способные отстаивать интересы редакции и расширять зоны нашего влияния. Парочка таких управляемых мерзких тварей в коллективе нам бы не помешала... Ну-с? Где корректура второй полосы? Ты, Цицера, все философствуешь? Запомни: каждый из вас – человек-функция. И все!.. А в снимках с элеватора – что за романтизм? Тут, в кадре, воробьев больше, чем людей! Ты, Шулебин, то на дому работаешь по собственному усмотрению, то в редакции торчишь за штативом до поздней ночи. Выдаешь какие-то лирические этюды. А газета живет грубыми производственными буднями! Вы, наемные служащие, в какой эпохе живете?! В прежней?.. И кончай, Шулебин, кончай разносить по редакции эти дурацкие поселковые стишки! Прекращай свои иносказания: «Идет барышня в бантах...» Все распустились. Все!..

Перед Днем Конституции в поселке грянули пятидесятиградусные морозы, и в нескольких домах отключилось отопление, потому что ломались старые котельные, не выдерживая разницы температур – внешних и внутренних. Жена простыла. Закутавшись в одеяло, она не вставала с постели. И Мальчик сам качал коляску с ребенком. А Завьялов решил перестирывать накопившееся белье. Но стиральная машина отчего-то не запускалась, вода в кане была ледяной. Чтобы растопить титан и согреть ее, требовались дрова или уголь, а их надо было заготавливать еще по ранней осени.

Ругаясь и раздражаясь из-за такого неудобства, Завьялов начал полоскать пеленки в

тазу. Наконец, он бросил все и стал одеваться празднично, потому что торопился на гулянье в редакцию, где уже накрывали столы. И там было тепло и весело.

На этот раз людей в кабинете редактора собралось немного. Уехал в город к своей сумасшедшей жене корректор Цицера. Лишь на планерках появлялся фотокор Шулебин – получал задание или сдавал выполненное. А Отто Келлер теперь выходил на работу через день, переведенный так же на половину ставки. Но и малым составом гуляли собравшиеся гораздо радостней, чем обычно: редакция получила неплохие деньги за рекламу заграничных семян сои и рапса. К тому же Завьялов уволил пожилую верстальщицу и старую наборщицу текста, взяв вместо них одну девчонку с лиловой пластмассовой розой у виска. Ее, окончившую школу в этом году, сразу принялась опекать Блудница, отслеживая каждый шаг новой сотрудницы. Девчонка еще стеснялась, переглядываясь кратко с прыщавым парнишкой из типографии, однако уже сплясала «цыганочку», слегка спотыкаясь и мотая подолом невпопад.

В самый разгар шуток и танцев Блудница увлекла Завьялова в подвал, – в то самое помещение, в котором Отто намеревался хранить колбасу. Туда можно было пробраться мимо перегоронок, за которыми находилась общественная картошка. Вскоре они вернулись. Гулянье продолжалось. За обильным столом ели и пели – с топаньем, посвистом, гиканьем в лад:

*Эх, зимушка, зима –
Зима снежная была!..*

Типографский парнишка сбегал куда-то

еще дважды, сначала – за коньяком, потом за самогоном. И песня возобновлялась все та же, только менее разборчиво и более громко:

*А ехал Ваня, поспешал,
Со своєю коня упал,
Эх!..*

Побаиваясь нового редактора, бухгалтерша, убежденная трезвенница в теплой кофте, провозглашала в честь Завьялова тост за тостом.

– Правда же, он – солнце нашей русской журналистики?.. Нет, правда? – вопрошала она каждого, покачиваясь.

– Точно! – широко размахивал завхоз пустым бутербродом с черной икрой на галстук. – Истинно так!

Однако девчонка с лиловой розой кричала гораздо звонче:

– Не просто солнце! Он – знак Зодиака! Наш настоящий знак!..

И Блудница, посмотрев поощрительно, придвинула к ней банку с малиновым вареньем, чтобы девчонка вспотела.

Однако новой сотруднице было не до варенья. Кресло Завьялова, в котором он благодушно посиживал, все дружно выкатили на середину кабинета и принялись водить вокруг него нестройный хоровод, хлопая в ладоши и приплясывая:

*...А на коня Ваню сажали,
Путь-дорогу указали!
Эх, зимушка, зима!
Эх! Снежная была...*

И Завьялов, обмотанный кружевной шалью Блудницы, скоро заснул в своем редакторском кресле, устав от шума и кутерьмы.

Дома, при отключенных от тепла батареях, его ждали почти до полуночи. Мальчик, одетый в зимнее пальтишко, беспокоился, подходил к матери, лежащей ничком, и теребил ее:

– Тебе какое лекарство дать?

Но она, слабо двинув рукой, не отвечала.

Еще он отправлялся в коридор, стучал в немую дверь Цицеры и прислушивался подолгу.

– Это я! – кричал он. – Откройте! У нас холодно... Вам дали тепло?..

Возвращаясь, Мальчик старался разговаривать с матерью – все равно о чем, лишь бы она не молчала.

– Ложку в чайник ты бросала?.. Я ее выловил.

Покачав коляску, он снова подходил к Евдокии.

– Мам, ты еще не состарилась? – заботливо спрашивал он. – А когда ты умрешь, тебе какой крест поставить? Я забыл... Помнишь, у тебя был большой живот? Ты рисовала настоящий крест, чтобы я запомнил надолго, а я теперь не знаю, какой...

Она выбралась из-под одеяла и села на постели, поеживаясь и вздрагивая:

– Не надо ставить, это еще не старость. Несусветная стужа стоит – и все...

Потом она попросила Мальчика:

– Попить мне принеси... Не бегом, хороший мой. Потихоньку.

Выпив кружку воды, Жена редактора и вовсе встала. Она укрыла Николеньку еще одним одеялом и наказала Мальчику сидеть рядом с ним, а если младенец заплачет, рассказывать ему сказку или стихотворение. Одевшись теплее, она взяла пустое ведро и постояла перед дверью. Потом сказала сама себе:

– Ну пойду, пока темно. Никто не увидит...
Пойду.

С этим ведром Жена редактора отправилась на улицу – собирать в ночи куски смерзшегося каменного угля во дворе котельной. Ей надо было все же растопить титан, чтобы не простудить детей в такой холод, уже схвативший окна изнутри толстым льдом, подернутым инеем. А ворота котельной стояли как раз полуоткрытыми, она заметила это еще днем.

В полной тишине Мальчик принялся ждать, когда младенец заплачет, но тот был спокоен. И Мальчик уселся за стол. Он стал придумывать сказку про что-нибудь теплое и записывать ее постепенно, печатными буквами: «Как мужик нашел шубу...». Потом отыскал иглу с ниткой и, сшив бумажные листы, написал название очень крупно – «Гнига». Довольный собою, Мальчик заснул, уронив голову на стол. Он улыбался тому, что сказка продолжала складываться и во сне. Когда же он выпрямился от неудобства и потер озябшие уши, то понял, что матери нет давным-давно.

– Ты только не плачь, – сказал он младшему брату, склонившись над ним, и тот заплакал. – Она скоро вернется...

Но от болезни Жена редактора упала с ведром угля прямо в воротах котельной и все никак не могла подняться с наледи, потому что было скользко. В кромешной тьме на нее набрела и подобрала с земли Великая Анна. Старуха подхватила тяжелое ведро одною рукой, плечом же подталкивала Жену редактора в спину, чтобы той было легче ступать.

Когда они вошли, младенец надрывался в плаче, а охрипший Мальчик кричал в отчаянии:

– ...За! Широкими! Морями!.. Не на небе! На! Земле! Жил старик!.. Жил! Жил! Жил! Старик... В одном селе!..

Сбросив грязные варежки, Евдокия сразу стала расстегивать ворот своей куртки:

– Маленький плачет, потому что в одной груди у меня молоко плохое от воспаления. Он не наедается.

Но Великая Анна ее не слушала. Она была занята тем, что с треском выламывала ножку у поваленного стула, наступив на него ногой, и уже растапливала титан, не раздеваясь.

– Вот! Хорошо, бессонница меня из дома выгнала, – комкала она газету, чиркала спичкой, прижав коробок подбородком к плечу. – А сторож дрыхнет, как убитый. У него уголь воруют – спит! Работник...

Вскоре стужи в квартире стало меньше, с окон потекла талая вода. И старуха ушла – пообещала только, что завтра заглянет.

Кое-как покормив младенца, Евдокия обняла Мальчика, уже забравшегося в свою постель, и прилегла к нему сбоку, на край.

– У меня в глазах темно, – говорила она и утирала пот со лба. – Пожалей меня, пожалуйста.

Мальчик быстро погладил ее по голове, закутанной в платок, и попросил:

– Мама! Не наваливайся на меня. Мне плохо, ты мокрая... Иди на свою кровать. Спи там. Теперь тебе надо долго спать.

На другой день редактор забежал домой ненадолго, только сменить рубаху. Они с Женой были приглашены в гости к главе района, и ясно

было, что идти придется ему одному.

– Не ко времени ты заболела! – проговорил Завьялов из прихожей в комнату Жены и детей. Дрожа от холода, он натягивал свежую майку. – Впрочем, там я собираюсь не развлекаться, а говорить с Романычем о производственных делах. Я готовил расчеты целую ночь.

Жена, пеленавшая младенца, не ответила. А закутанный Мальчик, сидевший у окна, стал смотреть в него еще прилежней.

– Вон Анна Великая к нам в гости идет! – сказал он, обрадовавшись. – Она уже скоро будет около тополя!

И Завьялов поспешил к двери.

Но старуха, прижимая к себе четыре полена, вошла не одна, а с шофером Отто Келлером. Тот искал Завьялова и ругался:

– Кто-то заходил в наше овощехранилище! Оставил его открытым! Картошка померзла вся. Редакция осталась без запаса.

– Что картошка?! – закричала на него высокая старуха, она с грохотом бросила поленья на пол и затопала в гневе. – Здесь люди мерзнут, а когда тепло дадут, неизвестно. У нее вчера еще температура больше сорока была. Вон градусник на тумбочке валяется! И уголь с дровами нужен, и врач.

Отто взглянул на Евдокию – лицо ее было в багровых пятнах, а глаза туманились. Он попятился, сказав:

– Да. Дожили. Тут нужен очень старый доктор... Ждите меня. И не занимайтесь самолечением! Я привезу старого доктора, который, может, и знает все.

Не раздевшись, Анна Великая ушла на кухню, ставить чайник, потому что Евдокия легла

на кровать и попросила пить.

Старый доктор, привезенный Отто, осмотрел больную. Ее бил озноб.

– Ей в больницу надо, – сказал он.

Жена устало посмотрела на детей и покачала закутанной головой, отказываясь. Отто тем временем дождался в прихожей и молчал. Он сидел под круглыми часами, прислонившись к стене.

– А в больнице топят ли? – с подозрением покосилась на доктора Анна Великая.

Тот задумался:

– Нет. Не топят. Однако дежурный хирург должен быть на месте! Надо ехать.

И все же его смущало то, что Евдокия не сможет взять с собой грудного младенца.

– Домой после операции не отпустят, но... Чем отличается прежний доктор от нового? – бодро спросил он самого себя, поразмыслив. – Там, где новый лечит в десять этапов, старый достигает того же в один прием, выигрывая во времени. Жаль, что нет со мною скальпеля и обезболивающего лекарства. Но антибиотик имеется...

Сделав Евдокии укол, он пошел на кухню, наточил нож, которым резали хлеб. Затем старый доктор мыл его с хозяйственным мылом. Еще он прокалил лезвие над газовой конфоркой и протер ваткой со спиртом из своего флакона.

– Не бойтесь, милая. Будет всего два надреза. Вы лучше кричите от боли, чтобы не было шока.

Но Евдокия оглядывалась на младенца и молчала. Она только бледнела, когда доктор полоснул ей воспаленную грудь раз и еще раз.

– Подставляйте блюдце! – закричал врач на старуху.

Со своего металлического корытца он взял нашатырный спирт.

– Дышите, – приказывал старый доктор Жене редактора. – Дышите! Не закрывайте глаза... Да не смейте же вы закрывать глаза! Слышите?! Не пугайте меня...

Потом он натирал ей виски ватой, смоченной нашатырем.

Мальчик в это время сидел на кухне, смотрел на газовую конфорку, которую доктор забыл выключить, а Великая Анна говорила ему ворчливо:

– Вот оно, как вы, детки, дорого нам достаетесь!.. Да уж теперь спасли матушку твою. Ты больше не бойся. Это лучше, чем без вас в холодной больнице ей лежать.

– Я не боюсь, – ответил Мальчик, заикаясь от переживания. – Она все вытерпит. Ее папа хвалил так. Я сам слышал. Давно.

Старуха вздохнула, выключив конфорку.

– А твоему папе... – сказала она Мальчику, опечалившись, – а твоему папе я оторву башку. И выкину ее собакам.

– Когда? – с надеждой спросил Мальчик.

Старуха загрустила еще больше – оттого, что желание ее было невыполнимым:

– Не знаю...

– Ты пошутила? – усомнился Мальчик. – Одной рукой ты не можешь отрывать головы.

– Да! – согласилась Великая Анна. – С одной рукой только шутить удобно. Шутить только, да.

Старый доктор оставил таблетки, обещал сделать на ночь еще один укол, и Отто, не проронивший ни слова, повез его домой, а Жена уснула в изнеможении.

Отыскав на кухне три картофелины, старуха решила их сварить.

— ...Ты нас почему не бросила? — спросил Мальчик Великую Анну. — Отто не бросил. И ты.

— А потому, что я хитрая, — сердито гремела она кастрюлькой, управляясь одной рукой. — Прикинула, а ну, слягу я, кто мне поможет? Мальчишка вот этот, белобрысый-то, приглядывать станет, наверно. Не бросишь тогда меня?

— Не брошу. Потом! — нахмурился Мальчик, обдумывая ответ. — У тебя сыночек большой есть. А потом я — не брошу.

— Ну то-то...

За неделю до Нового года засияли снега. Холодное ослепительное солнце проплывало над поселком, и к его колючим лучам потянулся искристый свет мелких снежинок. Безбрежные белые поля под легким студеным ветерком сверкали и горели там, за домами, играя золотыми тенями. И закутанная Жена жмурилась от блеска. Она стояла под заиндевшим тополем, покачивая укрытую коляску.

Мальчик, обвязанный теплым шарфом да самых глаз, бегал рядом. Он пробовал лепить снежки, только снег сухо осыпался с его варезек, игольчатый и пушистый. И Мальчик смеялся, подхватывая снежную пыль и подбрасывая ее вверх.

Приехавший из города Цицера улыбался им издали, размахивая легкой дорожной сумкой.

— Все! Все! — кричал он. — Зима повернула — на морозы, а солнце на весну пошло!

Он тоже остановился под тополем, щурясь от повсеместной красоты. Дела его устроились как нельзя лучше, хотя сначала казалось там, в го-

роде, что перед корректором один лишь тупик. Молоденькой супруге его сразу становилось хуже, как только начинали готовить ее к выписке.

— Она боится возвращаться домой, — поняли ее наконец-то в психиатрической больнице. — И это — в который раз! Похоже на симуляцию, однако тут — страх. Она не может с ним справиться...

Однако все дело исправил вдруг один сумасшедший, с которым во время прогулки больных разговорился Цицера, пришедший в отчаяние. Этот сумасшедший хоть и был почитателем Гая Лициния Верреса, считая грабеж двигателем прогресса, написал все же записку другому сумасшедшему, идеологу местных бандитов, у которого был свой киоск возле вокзала. И Цицере доверили продавать жвачную резинку на перроне, предлагая ее пассажирам возле вагонов.

Так же, через душевнобольных, удалось ему отыскать древнюю, но сговорчивую бабку. Та согласилась пустить квартирантов — мужа и жену, — в летнюю пустующую кухню-насыпушку. Совсем без платы, а за один только пригляд за хозяйством, пришедшим в упадок. Там, в углу единственной комнаты, стояла довольно еще хорошая печь-голландка, да и стены пока держали тепло от утра и до вечера. Должно быть, опилки меж дощатых стен засыпаны были сухими и утрамбованными на совесть — Цицера нигде не увидел промерзших углов. Ему оставалось только прикупить дров, чтобы хватило их до весны.

От этих вестей молоденькая супруга его повеселела и теперь ждала в больнице, когда он вернется из поселка со всем домашним скарбом и одеждой на всякое время года.

— Очень хороший прогноз! — рассказывал Цицера под тополем, покрытым густым инеем. — Приступы буйства у нее могут больше не обновляться... К тому же, я встретился там с начитанными людьми. У нас есть разногласия, но мы сошлись в главном.

— В чем же? — спросила Евдокия, радуясь удаче корректора, а еще — сиянию снега и солнца.

— Так же, как великий Цицерон, они борются с коррупцией! — провозгласил корректор. — Но странными способами, которые вызывают у меня сомнение. Зато их методы поразительно действенные! Коррупционерам там приходится несладко...

После этого корректор умылся пушистым снегом из сугроба и поспешил к себе с мокрым счастливым лицом.

В тот же вечер Цицера принялся чистить, собирать, упаковывать вещи. И дождался полного расчета в самый канун Нового года.

Однако все же пришлось корректору Цицере задержаться в поселке еще на целую неделю, потому что умер фотокор Шулебин — тихо, во сне. Оказалось, что в праздники хоронить его некому. Занятая веселой суматохой, редакция вешала гирлянды, надувала цветные резиновые шары и словно не понимала, зачем высоченная однорукая старуха весь день ждет Завьялова перед запертым его кабинетом.

Тогда все кладбищенские хлопоты взяли на себя лишь два человека — Отто и Цицера. Прихватив лопаты и лом, они долбили землю вместе, обустривая последний приют фотоко-

ра, без похоронщиков, загулявших надолго. Повезло лишь с гробом — в подсобке при кладбище оказался как раз один, заказанный кем-то, но забракованный из-за сучков на крышке. Да еще пригодился на этот случай тот прицеп, на котором Отто Келлер каждое лето свозил в свой сарай сено...

Следующим днем, пасмурным и тихим, возле свежей могилы стояли трое — Великая Анна, Цицера, Отто. И шофер сказал тогда в безветрии хорошую речь над мерзлой землей.

— Он умер от скромности!.. Да, он умер от скромности, потому что не стал пробираться к вершинам успеха со своим дарованьем. Его природное место было вверху, но он остался здесь, внизу, обслуживая районную газету, а не свой художественный вкус... Мы похоронили сейчас легкого человека! Такого человека не сет по жизни, как сухую травинку несет ветер. Ветру все равно, что это за травинка. Но нам не все равно — мы полюбили его скромную душу... Бывал он иногда резким на правду — и мы уважали эту правду. Знал он толк в фотографическом деле — и в наших семейных альбомах лежат его снимки. Они — память о нас. Но на этих снимках нет фотокора Шулебина. Нет нигде, ни в одном доме! Поэтому нам будет его не хватать... Нам будет тебя не хватать! Спи в этой суровой степи, в этой зоне столкновения ветров! Просторная Кулунда, приютившая многих, оказалась тесной ловушкой — она заключила тебя навсегда в холодную небольшую могилу, из которой не освободиться... Спи! И не жалея о редакции, не надо. В ней уже все другое. Не жалея о газете, она не станет прежней. Зато мы, прежние, придем к тебе, когда

появится здесь новая трава. А сейчас нас ждет Эльза, она испекла пирог с грибами и подняла из погреба соленья, чтобы мы помянули тебя добрым словом у нас дома. Мы посидим за нашим столом без тебя, но памятью будем с тобой. Спи...

И странным образом оказался за их спинами еще один, совсем чужой, продрогший мужичок. Он заплакал на холоде от слов Отто, сокрушаясь:

– Какой был человек...

Этот припозднившийся похоронщик переслушал много речей на старом кладбище, но он не слышал еще таких настоящих слов о том, кто уже перестал быть участником жизни.

И Анна Великая, и Цицера стали утешать его:

– Ничего... Ты, может, хочешь выпить?

Тот покачал головой и распахнул полы своего серого легкого пальто. В длинных внутренних карманах, грубо нашитых с обеих сторон, торчали там непечатые бутылки и лишь одна была заткнута пробкой, свернутой из местной газеты.

– Мне надавали на неделю вперед, пойду, – всхлипнул мужичок, утирая припухшие глаза рукавом. – Разве в этом дело! Не в этом... Знал бы, расчистил перед ним снег пошире! А то тропка... Узкая, узкая! Кривая она получилась для такого усопшего человека. Да... Надо было – расчистить широко. Широко – надо было...

Анна Великая смотрела на него сухими глазами.

– Что теперь плакать? – сказала она. – Он раньше умер, чем умер.

Высокая старуха пошла от могилы сына первой.

– ...Как-то нехорошо получилось с Шулебиным, – рассуждал Завьялов, расхаживая в своем кабинете мимо кожаного широкого дивана, приобретенного недавно. Затем от окна он поворачивал назад. – Нашел время, когда помирать.

Праздничные дни еще не завершились. В безлюдной редакции стояла тишина. Тут были они вдвоем. Блудница, расположившись в его кресле, вычерчивала на листе бумаги круги, квадраты и рисовала длинные стрелы. Потом быстро записывала цифры его, завьяловской, ручкой.

– ...Что нехорошо? – удивилась она, кутаясь в шаль. – Лишней траты средств мы избежали. А еще попробуем выстроить такую вот схему с квартирами. Они находятся в собственности редакции. Смотри, как я придумала.

Он не стал разглядывать лист, который она ему протягивала, лишь приостановился на мгновение:

– Какие квартиры?.. Люди давно могли их приватизировать. А потом продать или жить в них, уже в частных. Ты о чем?

– Подумай! Кто будет осуществлять перевод жилья из одной формы собственности в другую? – Блудница сощурилась. – Старуха Анна? Или Цицера?.. Он собирается в город. И вообще – уволился. А старуха у нас не работает и не работала никогда. Почему она занимает редакционную, ведомственную площадь?

– Но, но! – прикрикнул на нее Завьялов. – Размашисто мыслишь! Лукавая...

Он опять зашагал к окну и обратно. Потрогав гирлянду, бессильно свисавшую с люстры, Завьялов сдернул ее и бросил в мусор. Однако

длинный хвост зеленой мишуры выполз из корзины и, причудливо изгибаясь, улегся на полу, возле редакторского кресла. Завьялов пнул гирлянду, но подбирать не стал. Тогда Блудница обхватила его шею и притянула к столу:

— Послушай меня! Если старуха освободит квартиру, мы сможем сдать эту площадь под склад привозных семян в аренду. Нам пойдут деньги. На нужды редакции.

— И это — после похорон сына? — не понимал Завьялов. — Бедная Анна... А почему ты не предлагаешь сдать под склад квартиру Цицеры, если корректор все равно уезжает?

— Это еще зачем?! — улыбалась она, обвивая его рукав. — Гляди! Достаточно пробить у него еще одну дверь. Вот здесь. Или снести эту стену. И ты сделаешься владельцем большого особняка! Из трех комнат, двух больших прихожих и длинного бестолкового коридора, который тоже пойдет в перепланировку... Ты ведь ответственный квартиросъемщик? Ты. Тебе останется только все это приватизировать. Тогда будет, что продать! Если не захочешь для себя устроить здесь настоящие хоромы...

— Не слишком ли ты разревилась? — покосился на нее Завьялов и, высвободившись, опять зашагал по кабинету. — Прилипла...

— Не слишком! — закричала Блудница. — Чего доброго, упустим время. Поселковый совет ведь тоже не дремлет... И этот жалобщик Лукич. Районный агроном. Хоть бы пристукнул кто-нибудь его, краснопузого... Лезет к начальству: «Местные твердые сорта! Наши зерновые культуры! Свои достижения теряем безвозвратно!» Баламутит народ! Представляешь? Хотя... Есть у меня в органах пара знакомых ребят. Я у

них интервью брала. Один вообще — с хорошими кулаками. Ему-то можно кое-что поручить... Конечно, я коплю доносы на Лукича. Но мало их! Мало! Понимаешь? Надо спешить.

— А предложи-ка ты Лукичу выступить со своей статьей в нашей газете. Про необходимость сохранения местного семенного фонда. Все равно это уже ничего не изменит. Пусть сотрясает воздух сколько угодно! Да и править его статью перед печатью будешь ты сама. А потом дадим на первую полосу твои доносы... погоди! Что это? — обернувшись на тонкий посвист начинающейся вьюги, Завьялов насторожился.

Стекло в окне под напором ветра стало мелко дребезжать, заунывно позванивать. Он плотнее закрыл форточку и поморщился:

— Степь воет... Опять! И так все замело. Я вообще-то подумывал, не отдать ли квартиру Цицеры девчонке. Это было бы удобно со всех сторон.

— Отдай! Только успеешь ли? Потому что прежде я уволю эту неумеху с треском!

В сердцах Блудница стукнула по столу кулаком, и сама собою включилась вдруг рядом с нею настольная лампа. В кабинете стало уютней от красноватого цвета и будто теплее.

— Ну ладно, ладно, — потрепал Завьялов ее короткую стрижку. — Я подумаю... А сколько лет Анне Великой? Небось, уж того, пора... Ждать-то недолго.

— Она еще нас переживет, двужилная, — расстроилась Блудница. — Сегодня! Умные люди уже сегодня делают свою жизнь роскошной! А наша жизнь проходит в каком-то убожестве. Не разумно это. Кто-то нас опередит, только и всего.

— Наша жизнь! — усмехнулся Завьялов. — Так уж и наша... А к Анне надо бы зайти. Пособолезновать, что ли. Помочь самой малостью. Неудобно все же. Вот выйдет бухгалтер...

— Еще чего! Кто она такая?! Вечная жертва вечно неблагоприятных обстоятельств?.. Вечная, увечная. Надоела всем! И твоему Келлеру пора на пенсию, тоже ведомственную площадь занимает. Пусть и он пошевелится... Кое-какие бумаги я уже подготовила. Наш судья быстро докажет им, что все они — только арендаторы.

— Хватит молоть чепуху! Замолчи, — отмахнулся Завьялов. — Отто чем тебе не угодил? Прекрати немедленно! Слышишь? ...А не поесть ли нам сала?

— Его машину лучше отдать кому-нибудь из молодых, — твердила упрямая Блудница, склонившись над схемой. — Этому, как его... Там, в типографии, работает парнишка толковый, ты знаешь. Пусть на права пока сдает.

Редактор молчал.

— Ну? Что ты решил? — покусывала она яблоко, поглядывала на бумагу с вереницей чисел и что-то прикидывала в уме.

Он шагнул к вешалке, снял свое пальто, но обернулся:

— Тебе дана эта должность, чтобы, грамотно вписавшись в рынок, нам уберечься от грабительских поборов и разорения — от пиратской угрозы извне! Но ты... сердцевицу выгрызаешь. А ну, брысь из моего кресла! Раскомандовалась. Надоесть не боишься?

Напряженно хохотнув, она сощурилась — и обожгла Завьялова голодными огоньками, заигравшимися в ее глазах.

— Поздно! — похлопала Блудница ладонью по

толстой папке с документами. — Разве не понятно? Уже поздно. Лучше успокойся... А старуха и сама в редакцию припрется, если ей понадобится что-то. Ничего!.. Пусть просит! Нас — просит! Она походит, а мы посмотрим на нее. Выслушаем для начала. Разок, другой... Потом пообещаем что-нибудь. Но отложим решение. И опять выслушаем! Вот тогда-то ее хватит ненадолго... Ты сала хотел?

— Нет, не придет, — покачал головой Завьялов, одеваясь. — Пока ты здесь распоряжаешься... Не придет, пожалуй.

Высокую старуху в черном не было видно нигде. Даже светлые шторы двух ее окон не раздвигались, и дом Шулебиных стоял, будто потерявший зрение. Великая Анна не вышагивала больше по улицам, не ходила дозорными кругами вокруг заснеженного поселка, а если в дверь ее ломались встревоженные соседи, она появлялась на пороге, не говоря ни слова, — и закрывалась так же безмолвно. Великая Анна ушла в молчание, как в бинты.

Эта зима все еще держала поселок в морозном, глухом оцепенении, не давая проявляться жизни. Куда-то пропали нарядные снегири. И даже в магазине стояла теперь бесприютная тишина. Местный люд, закупавший муку, соль и спички еще с осени, умел подолгу обходиться домашними припасами в суровое время года. Казалось, что в поселке не происходит ничего. А мелкие события либо никем не замечались, либо им не придавалось значения. Всем надо было перетерпеть зиму.

Появившийся как-то на автостанции то-

ропливый Монах отправился зачем-то искать Цицеру, но, не застав его, спрашивал еще в билетной кассе про Анну. Он даже, говорят, достучался, пробыл же у старухи совсем недолго. Подбирая полы слабо утепленной рясы, Монах побежал от Великой Анны все к тому же рейсовому автобусу, на котором приехал сорок минут назад, и, едва успев в него забраться, отправился в обратный путь сразу. Благо, вьюжило тем днем несильно и грейдер был расчищен.

На автостанции так и не поняли, зачем приезжал в поселок мимолетный этот человек с тряпичной черной сумкой через плечо. Да и городские рейсы вскоре здесь отменили, оставив только один в неделю, чтобы не жечь бензин попусту.

В феврале поминки по фотокору снова устроила Эльза. На сороковой день после похорон Шулебина к Отто пришла сама Анна, а с нею Жена редактора с детьми. Малышами сразу занялись две внучки Келлера в дальней комнате дома, где на столе уже стоял творожный штollen и морс, и даже были разложены цветные карандаши и тонкие книжицы «Раскрась сам». Потому никто из детей гостям не докучал.

По маленькой рюмке облепиховой настойки на меду взрослые выпили, не чокаясь. Закусили рисом с изюмом.

— Там, возле его могилы, место есть для меня, — сказала старуха, пожевав немного.

— Ох! — вздохнул Келлер. — Похоже, придется занять это место мне. Так чует мое сердце...

подавая гостям грибной пирог, Эльза кивала мужу согласно:

— Среди наших немецких могил давно уже так тесно, что... Не знаешь, куда и деваться.

— Значит, всем надо жить, — без уверенности проговорила Жена редактора.

— А как? Машину казенную у него уже отобрали, — пожаловалась Эльза. — Отто недавно очень хорошо утеплил ее изнутри новой тонкой кошмой и перебрал мотор...

— Ничего, наш старый мотоцикл с коляской я почти отремонтировал, — успокоил ее Отто. — Не останешься ты без своих грибов, Эльза.

Потолковали за столом о том, о сем. Пересмотрели снимки Шулебина. Особенно долго разглядывали те его фотографические работы, которые были забракованы редакцией. На них то сияла, то хмурилась гладь близкого лесного озерца, доверчиво цвел цикорий в солнечных лугах, молчал предгрозовый бор, до неба высились на току горы знаменитого кулундинского зерна — и смеющиеся девушки и парни гонялись друг за другом с деревянными лопатами, а не подгребали пшеницу, как было положено...

— Он особенности искал, мой сын! — громко произнесла вдруг Великая Анна. — А газете нужна была обыкновенность. Вот и пришлось работать ему — на обыкновенность.

Жена редактора глянула на старуху с особенным, долгим пониманием.

— Фотокорреспондент Шулебин художника в себе убивал, — сказала она, подумав. — Изо дня в день, тяжело это.

— Много народу себя в себе убивало, — легко согласилась старуха. — Куда нам было деваться...

Евдокия снова перебирала фотографии.

— Некоторые имеют художественную ценность, — присматривалась она. — Здесь жанровые сцены и пейзажи. Но нет на обратной стороне подписи автора и даты... Без этого они не будут признаны.

— И дома — только неподписанные работы его, — растерялась Великая Анна. — А пленки на работе он оставил. Хотел перепечатать там, с хорошим увеличением. Уцелели они в редакции? Не знаю.

Отто покачал головой:

— После праздников они лишнее жгли. Старые подшивки газет, какие-то документы. И фотолабораторию освобождали. Пустая комната им нужна стала. Большой костер во дворе горел.

— Что же, все в распыл пошло? — спокойно осведомилась Великая Анна.

В наступившей тишине стало слышно, как тикают настенные часы. О край тарелки звякнула вилка, уроненная старухой.

— Не кончился ли у них морс? — обеспокоившись, Эльза пошла проведать детей и скоро вернулась. — ...Им понадобились только чистые листы! Отто, сегодня твоя настойка не пользуется успехом. Или ты забываешь ее подливать?

— Живым живое, — согласился с ней Отто, открывая графин.

За едою все пожалели, что уволился благодушный Цицера. И вспомнили о Монахе, который приезжал к Великой Анне зачем-то непонятно откуда.

— Показалось мне, он больше архивный человек, а не молельный, — отвечала старуха с неохотой. — Записать собрался, как забирали моего отца. Так я не помню ничего. Это в детдоме я числюсь с января тридцать четвертого года, а что до этого времени было, где мне упомянуть, семи лет от роду? Один снег какой-то на ум приходит. Снег без конца, без края. И валеночки на мне белые. Крошечные совсем. Все-то я вниз, наверно, глядела... Да, снежная зима тогда была!

Собравшиеся молчали, ожидая продолжения. Но молчала и Великая Анна. Очнувшись, она взмахнула обрубком руки, словно хотела отереться, однако тут же провела по лицу уцелевшей ладонью.

— Зря приезжий просил, чтобы написала ему, если вдруг на память что придет! — заговорила она раздосадовано. — Мне ли писать? Я и молюсь-то левой рукой, кое-как, потому молитвы мои недействительные, наверно. Мимо неба летят...

— Расстроился он? — посочувствовал мимолетному человеку Отто Келлер.

— Да! — отвернулась от ненужного воспоминания Великая Анна. — Попусту добирался по такой тяжелой зиме! Снегу-то в полях вон сколько... Не ленивый какой. Без всякого толка ездит, не сидится ему у себя — в монастыре ли, где ли...

— Молодой, наверно? — понял Отто.

— Не старый, — ответила старуха. — Вроде, летописец. А подробное мне без надобности. Убег, да и ладно.

Нахмурившись, она принялась за пирог. Отто снова подлил всем по капле золотистой настойки. И Эльза подкладывала на тарелки гостям большие ржаные пряники для закуски. Но старуха вдруг спохватилась.

— Хлопоты вам, — застеснявшись, сказала она.

— Это — так надо, — веско ответил Отто, он сам положил ей на тарелку еще пряников. — Надо так.

— Снится тебе твой сын? — спрашивала Эльза с большим вниманием.

Великая Анна покачала головой:

– Нет! Далеко ушел мой сын... Совсем далеко он, не рядом. А где? Не разглядеть мне отсюда. Да и что его душе теперь тут делать? Нечего тут стало делать, вот и не снится. Только голос его один раз вроде долетел. Совсем из далекого края откуда-то. «Здесь такое все лазеревое!..» Так сказал. И все. Растаял сразу голос.

– Лазеревое? – уважительно повторила Эльза.

– Хороший признак! – решил Отто. – Очень хороший признак.

– А что пишет ваш Эрих? – вспомнила Евдокия про младшего брата Келлера.

Отто задумался и стал вглядываться в окно, а может, в опрятные короткие шторы, пожелтевшие от времени, которые вышивала, должно быть, еще незабвенная гроссмуттер.

– Собирается в путь. Решил вернуться домой, сюда, насовсем! – обстоятельно пояснил он. – Эрих, Эрих...

– Ждешь его? – просветлел взгляд старухи. – Ждешь, наверно...

– Я уже написал ему: «Не приезжай».

Про Завьялова никто не проронил ни слова. И Жена редактора думала теперь, что это из-за нее, отчего было ей неловко перед всеми. Стало слышно, как в комнате детей заплакал маленький.

– Пора, – поднялась она. – Пора нам собираться. Заглядывайте к нам, пожалуйста! Мы часто бываем одни.

По дороге домой Мальчик думал про то, как в гостях он совсем не шалил, а изрисовал целую кипу листов цветными карандашами. И еще вспоминал тяжелые альбомы со странными картинками, в которые подолгу смотрела Евдокия, оставляя их раскрытыми то на столе, то на своей тумбочке.

– А твои художники тоже хорошо себя вели? – на ходу спросил он, перекатывая ледышку по скользкой дороге то одной ногой, то другой. – И Калмыков, и Филонов?

Евдокия ответила ему не сразу:

– Они попали в зону ветров.

И, довольный своими рисунками, Мальчик побежал вприпрыжку, чтобы скорее открыть тяжелую дверь перед матерью и закутанным Николенькой.

Когда Евдокия с ребенком на руках вошла в свой коридор, то остановилась в недоумении. Грохот из комнаты Цицеры доносился такой, будто там дробили стену, смежную с их квартирой.

– Это Цицера шумит? – обрадовался Мальчик, уцепившийся за карман ее пальто. – Конечно, я подарю ему пряник?

– Не Цицера, – сказала Евдокия, прислушиваясь. – Там чужие люди.

Мимо быстро прошагал Завьялов. Поправляя пальто и шапку, он приостановился:

– Рабочие делают ремонт. Пыльно будет. Уехала бы ты пока с детьми к родителям.

– Я не могу, – растерялась Жена. – Ты знаешь! Отец не перенесет...

– Чего не перенесет? – отворачивался Завьялов.

– Моей беды! Он верит, что вырастил меня для счастья... А новой жене его я зачем? И мои дети ей ни к чему.

Редактор пожал плечами и, полуобернувшись, спросил Мальчика:

– Ну? Как дела?

Мальчик тоже в ответ пожал плечами.

– Погодили бы вы до весны! – попросила Жена. – Не долбили пока...

Завьялов слегка задержался на пороге, но так и не ответил.

Рабочие из комнаты Цицеры ушли к вечеру и на другой день не появились. Однако на исходе марта Жена снова услышала их голоса за стеной. Там, бранясь, кидали на пол что-то тяжелое. Стук возобновился. Завизжала безостановочно дрель. И грохот усиливался до тех пор, пока часть кирпичной стены не вывалилась в детскую комнату, взметнув красноватое облако пыли.

Огромное северное озеро сливалось с тревожными облаками у той туманной кромки, которая была почти неразличимой. Оно уже очистилось ото льда, но еще мутными были волны, которые набегали на оттаявший пустынный берег и отступали, покачиваясь. Чуть выше, на взгорье, стояли две женщины, глядящие в даль; высоченная прямая старуха — и молодая, держащая на руках закутанного младенца. Другой ребенок, Мальчик лет пяти или шести, сидел поодаль на бревне, валявшемся у самой воды. Он тер глаза, потому что не выспался в долгой дороге. Однако ошеломленный новизной сидел смиренно.

Равнодушное дыхание вологодского севера не замечало весны. Холодное небо над безбрежным водным простором было таким низким, а длинные мрачные облака такими текучими, что страшно было видеть, как внезапные огненные просветы падают вдруг из несусветной выси в свинцовую воду и, покачнувшись, гаснут. И снова открывается второе небо — не низкое, а запредельно высокое — и сбрасывает вниз гроз-

ный поток лучей, закрываясь тут же. И опять — ни просвета в мрачном низком небе, ни всполоха. Лишь текут над озером длинные темные облака. И еловые дикие леса отчужденно чернеют за далекой рекой...

Все здесь не ждет человека и не любит его! В таком понимании Мальчик замирал и томился. Но взлетала где-то над островом кричащая большая птица — и кружила затем над водой плавно и тихо, раскачиваясь в хмурой дали. Тогда могло показаться, что жить здесь тревожно, но допустимо...

Местный рыбак, вычерпывавший воду из лодки большой консервной банкой, бросил ее и подошел к приехавшим. Много поживший мужик оглядывал их без спешки.

— Вы это, что ли, попова дочка? — спросил он старуху. — Я сразу понял про вас! По росту вашему признал: дочка, думаю... Поп-то наш, когда освободился, вот так же тут стоял, высоченный старик бородатый. Глядел тоже после лагерей. На озеро, на небо... Или перед храмом своим — возле сторожки церковной, застынет, как вкопанный, ой надолго, а близко к нему не подходит. Служить ему там, как отсидел, больше не позволялось, в храме своем. Запрещено было!.. Батюшка ваш и помер быстро — в той же, вон, в церковной сторожке, в низенькой, кособокой. При храме она — конура конурой!.. Только туда его власти пустили, дожить вроде. Вот пожил здесь самую малость.

Рыбак долго чиркал спичкой, сутуло отворачиваясь от ветра, наконец закурил.

— Он, такой высокий народ, — в лагерях раньше всех погибал, — сообщил рыбак, поглядывая в сторону черного леса. — Да, первыми

высокие люди в смерть шли, потому что пищи им требовалось больше. Пайки-то везде одинаковые были; на низкого только человека... А выжил наш поп! Редкий случай. Видно, сильно ему надо было сюда вернуться... Вон он, дом ваш, поповский, большой! Видите? Давно в негодность пришел. Тот, с обрушенной крышей. В него и не войдешь, развалины там одни. Трухлявое дерево стало — под дождями, под снегами.

Женщины слушали его, не спрашивая ни о чем. Мужик неторопливо курил, мелко покашливал и тоже смотрел на облака.

— Я такой же был, — он указал на подошедшего Мальчика. — Да, в этих годах. Подбежишь поздороваться, а он кивает на храм-то безверхий, да и говорит: «Тише... Там ангелы теперь службу ведут». Мерещилось ему так. Потому что — какая служба? В храме-то и зерно уж перестали хранить, а пробили стену насквозь. И как вывалился кирпич, то в этот пролом трактора стали для ремонта загонять. В храме — грохот, стук, лязг! Да, мат и грохот! А поп стоит на ветру, у сторожки, — днем ли, утром ли раненько, — слушает. «Служба там, — говорит, — идет...» Вот как! А вы бы побереглись, дует. Апрельский ветерок — он студень, хоть и солнце выплескивается иногда. Ночевать-то вам есть где?

— Есть, — ответила старуха. — Мы дома тут. Вернулись...

Приезжие стали подниматься к храму. Постояв перед проломом в стене, они вошли внутрь, раздвигая бурьян руками, и долго озирались на сквозняке. И странно им было находиться там, где в помещении росли кусты, а вместо крыши было — хмурое небо, в которое смотрели из храма корявые ветки татарника, и клонилось в за-

рослях бурой травы кривое одинокое дерево.

— Никак в алтаре мы, нельзя нам, — попятилась Великая Анна. — После женщины алтарь вымывают, как после собаки. Что-что, а это помню... Вон с той стороны войти надо было. Да зарос там весь вход, бурьян непролазный...

Забывшись, старуха перекрестилась на небо обрубком руки, будто была она неукороченной.

— Пойдемте назад! — спешила Великая Анна, с тревогой раздвигая кусты. — Осквернили ведь мы собой алтарь. Ой, осквернили!.. Мальчишке туда можно. А нам — нет...

На крыльце темной бревенчатой сторожки их ждал Монах.

— Наладил вам три топчана, соломой пока застелил, да резную кроватку отыскал на мусорной куче. Хорошая! Редкой работы, старинной. Послужит еще в этой тесноте. А стол здесь и так находился, хоть и убогий... Главное, проводка сохранилась! Свет-то, оказывается, горит!..

Обустроивались они до вечера. Монах кое-как растопил печурку, вытащив из-под плиты упавший закопченный кирпич, и похвалил детей, сказав матери:

— Молчат они у вас, тихие... Не заболели?

— Понимают все. От понимания тихие, — не улыбулась она и отвернулась к темному распятию, прибитому в углу, чтобы покормить маленького грудью.

— Отковыривали крест, — заметила Евдокия. — По краям обломы.

— Латунь! — отозвался Монах. — Тонкая. Потемнела вся. И мало ее. Бронзовый бы сняли.

Местные люди заглядывали в сторожку и при-

носили то старое, но крепкое одеяло, то миску, то сковороду, то цинковое ведро, необходимое в хозяйстве. А старуха все осматривала сторожку. Поднимала одной рукой шаткую половицу. Ша-рила по верху, в темных углублениях под низким потолком. И все-то ей казалось, что совсем рядом оставлено тут для нее важное – замшелая вещица-послание или тайный родной предмет, подающий известие. Но из глухого прошлого не доходило к ней ничего, кроме пустоты...

Однако рыбак, заглянувший к вечеру, согласился повесить на стенку бледный листок, подаренный Монахом, – ксерокопию страницы из папки с документами. И тут же соорудил для этого рамку из четырех реек, подобранных у крыльца, а мелкие гвоздочки как раз нашарил он у себя в кармане. Рыбак позабывал их на крыльце плоским булыжником... Теперь в сторожке висел недалеко от распятия двойной портрет местного батюшки – отца Великой Анны. С бумажного листа тускло смотрел сквозь людей косматый старик, снятый анфас и в профиль.

Тот же рыбак позвал их на ужин в свой дом, пожалев, что Монах уже побежал по домам, делать свои записи и расспрашивать, где власти похоронили местного священника.

– Ну у кого-нибудь Монаха накормят, – заверил рыбак. – А могилки-то он не найдет. Не надо было властям паломников привлекать, затоптали поди могилку. А может, мертвого попа и вовсе в озеро кинули. Озеро-то здесь такое диковинное, что из него и утопленники не всплывают. Многие говорят, будто здесь двойное дно, туда течением трупы затягивает, в провалы. Под дном-то – ледник, а его кое-где родниками пробивает. Эти промоины, вроде, на сорок метров

в глубину земли уходят. Да! Если кого затащит под ледник – оттуда не достанешь... А кто твердит, что сразу человека рассасывает длинными корнями хищная трава! Называется кровохлебка. Она из озера тут растет. Увидите летом – красивые поля на волнах качаются, розовые, приветные, знайте: кровохлебка цветет...

Пока они шли вдоль косогора, прислушивался рыбак, оборачивался к озеру. Вскоре донесся оттуда рокот моторных лодок.

– Возвращаются, – успокоился рыбак. – А у моей корма прохудилась чуток. Все ж законопатить придется, да просмолить. Захлестывает волной немного... Может, к поповскому дому подойдем, на развалины посмотреть?

Великая Анна приостановилась, поправила платок у лба.

– ...Нет, – нахмурилась она. – Очень уж оно болезное – такое смотрение. Сил на него не хватит... Не бывает у человека столько сил!

– Ну и ладно, – согласился рыбак, открывая калитку. – Пора нам за стол.

Еда оказалась простая – картошка в мундире, костлявая рыба и блюдо кислой капусты. Еще дали приедем после ужина бутылку свежего молока и большой пакет картошки, немного проросшей.

– Продавать молоко вам не буду. Самим мало, – сказала пожилая дочка рыбака, провожая их до калитки. – А пол-литровую банку детишкам наливать стану раз в день, без платы. По утрам забирайте. Утрешник...

И снова они шли мимо высоких стен огромного старинного храма – без крыши, без колокольни, без врат. А пробоина была им отсюда не видна.

– Что ты все молчишь? – спросила старуха

Мальчика, но не дождалась ответа, проворчала только: — Молчун какой стал, как старичишка старый...

— Ты сочиняешь, наверно, книгу, — сказала старшему сыну Евдокия, покачивая малыша на ходу.

— Я уже написал, ты забыла, — скромно ответил Мальчик. — Теперь только запоминать буду.

— Чего тебе запоминать? — покосилась на него старуха.

— Я тополь запомнил. Поезд. Еще — дорогу... Там Отто остался без нас!

— Остался, наверно, — переглянулись взрослые на ходу. — За могилкой тогда последит... Он хоть из-под земли, но все равно приглядывать будет...

Уложив детей, сразу уснула Великая Анна — на том топчане, что был ближе к окну. Монах же готовился уехать завтра, поздним утренним автобусом, и потому устроился на полу, прибросив под голову остатки соломы да запахнув на себе стеганую рясу потуже.

— Ничего, притерпитесь, — говорил он в темноте. — А завтра в школе, может, преподавание вам подыщут, матушка Евдокия. Там в уборщицах прихожанка наша старая оказалась, она похлопочет, обещала... Только вот детского сада тут нет. Вернее, есть, да больно роскошный. На горе, где богатые дачи стоят. Видали дворцы с длинными террасами? Их новые русские для себя настроили. Северная природа нынче в моде... Только среди новых русских нет русских. Там национальность — деньги.

— За детьми сама догляжу, — сказала Великая Анна строгим голосом, словно и не спала только что. — А тем, богатым, вон как хорошо Господь помогает! Куда с добром...

— Да, хорошо, — нерешительно проговорил Монах. — Он к грешникам пришел. Призвать не праведников, но грешников к покаянию.

— Чего же? Сам раненый, — продолжала старуха, ворочаясь. — Видишь, какие раны. Его милости разве хватит на всех? Нет... На богатых грешников только. А с нами? Он с нами чем поделится? Одними страданиями своими. Вот их нам терпеть и терпеть... Только иной раз и согресишь! «Ты что же весь наш род изничтожил, пришиб? Что истязаете — из поколения да в поколение? По свету гонишь... Для чего извел, изуродовал нас?!» Не понимаю я этого...

— Мама! А зачем — Господь? — громко спросил Мальчик из темноты.

Она отозвалась не сразу:

— Он затем, чтобы доказывать тебе, что ты во всем неправ.

Монах длинно вздохнул, но промолчал, пошуршав соломой. Позже стало слышно, как он бормочет потихоньку — проговаривает едва слышно малопонятное, шепчет сам для себя:

— ...беды претерпел еси и гонения, и болезни, исповедания ради Божественныя Истины, юже житием и словесы твоими заключенным в тюрьмах и лагерях и всем ссыльным являл еси, немощные утешая и верные утверждая...

Еще он крестился с пола в сторону бумажного портрета, не видного в ночи, — белевшего на стене лишь млечным слабым пятном.

Утром Жена редактора ушла в школу. А старуха, покормив детей манной кашей и уложив младенца, поспешила с Мальчиком в храм. Под кирпичной аркой входа она вырывала бурьян с

корнем, подхватывая кусты локтем, укладывала их на лист фанеры, а Мальчик отвозил его подалее, к мусорной яме, и там сваливал, отряхиваясь от земли. Наконец Великая Анна устала – их работы не было видно ничуть...

– Все без толку! – отчаявшись, сказала она. – Все не умно... Крышу-то никто не возведет, если столько лет никому эти стены не нужны...

Монах позвал их с крыльца сторожки. Он показал мимоходом на остатки кривой низкой загородки, потемневшей от времени:

– Смотрите, огородик у него был, картошка росла. Всего-то кустов с десятков. Еще, старики вспоминали, он дыни сажал, но они не вызревали... Говорят, лежали тут на земле вразброс – маленькие, зеленоватые. Никчемные совсем, а вот, сажал...

Великая Анна нахмурилась:

– Со стариками ты говорил, записал чего или нет? – спросила она. – Могилку-то не отыскал?

– Не отыскал, – ответил Монах.

– Все ты попусту хлопочешь, зряшный какой, – заметила старуха сочувственно. – Ремесло что ли у тебя такое – напрасно хлопотать?

– Самая малость приоткрылась только. Одна старая работница сельсовета покаялась. В последнюю ночь, при аресте, батюшка на храм свой перекрестился. И сказал: «Всем дары даются. Дом – дар. И дорога – дар. Молитесь обо мне!» Это он – конвоирам, и ей, комсомолке. С тем его в сани и затолкали...

Старуха, поразмыслив, успокоилась:

– Живой вернулся, ангелов здешних послушать успел. Значит, под конец снисхождение ему вышло...

На плите шумел чайник. Мать Мальчика хло-

потала, расставляя на столе кружки и стаканы.

– Нет у них учительских ставок, – сказала она. – Сейчас пойду в продуктовый магазин, мыть там полы за ежедневную плату. Я договорилась.

Монах торопился к автобусу, и после чая они ушли вместе. Анна же занедужила, ослабла и все лежала на топчане неподвижно, глядя в окошко, на храм.

– Вот и приютил меня батюшка мой, – говорила она Мальчику, не оборачиваясь. – Легко, наверно, теперь его душе стало. Всех, всех нас приютил. Ты погляди, над храмом небо какое! И правда – лазоревое... Ты куда?

Мальчик меж тем оделся, обул сапоги и уже стоял с куском фанеры в руках.

– Богу пойду помогать, – сказал он.

– Что ж, иди, – помедлив, согласилась старуха. – И мне вставать придется! Щас я, щас... ■